

ПЕТРОПОЛЬ

ТОМ 2

АЛЬМАНАХ



ПЕТРОПОЛЬ

АЛЬМАНАХ

II

ББК 84Р7

Издание осуществлено за счет
средств авторов

Редактор — составитель **Николай Якимчук**
Редакционно-издательский совет:
Александр Володин, Яков Гордин, Виталий Кабаков,
Андрей Кожухов, Виктор Липатов,
Александр Малюгин, Александр Маришин,
Валерий Попов, Евгений Рейн,
Александр Самарцев, Владимир Уфлянд,
Юрий Васильев

ПЗ11 Петрополь. Ч. II. Альманах / Сост. Николай Якимчук. — Л.: «Всесоюзный молодежный книжный центр» филиал «Васильевский остров», 1990. — с.
ISBN 5-7012-0020-5

Альманах объединяет авторов разных поколений. Их общий знаменатель — нонконформизм.

П $\frac{4702010200}{022(01)-90}$ Без объявл.

ББК 84Р7

ISBN 5-7012-0020-5

© Составление. Николай Якимчук, 1990

ВИКТОР ВАСИЛЬЕВ

Романс

Я придумал забавную площадь:
как извозчики, спят фонари,
и рассвета морозная лошадь
бьет копытом, ноздрею храпит.
Видно, мысли мои — не впустую:
все сбывается, что ни спою.
Но я часто теряю Сенную —
несусветную площадь мою.

Ты живешь, не переча природе.
Что угодно душе — попроси.
Уходи при любой погоде —
я уже заказал такси.
Я тебя ведь почти не ревную,
потому что почти не люблю.
Ты не хочешь со мной на Сенную —
непонятную площадь мою.

Там опять никого не бывало,
и хоть бродишь по пояс в снегу —
там еще ничего не пропало,
и никто не остался в долгу.
Если пьян я и если тоскую,
я с надеждой чужим говорю:
— Ну поедем со мной на Сенную —
неуютную площадь мою.

Говорят, этой площади нету,
говорят, что названья не те,
что за чистую принял монету
все, что сгибло в людской суете.
Ничего. Я готов на другую.
Все равно ведь: январь — к февралю.
Но я еду всю жизнь на Сенную.
На Сенную. Родную. Мою.

* * *

Нет ничего случайного.
Не просто так дано
то — хрипкое молчание,
то — хилое отчаянье,
то — горькое вино.
Нет ничего ненужного —
ни пули, ни строки.
Рев парохода чуждого,
и серость моря южного
накрыла башлыки.
Нет ничего пропавшего
в крови и злобе дней.
Смех ангела упавшего —
и вместо дома нашего —
лишь мусор да репей.
Что знаем, что не знаем мы —
все явится потом:
рука с кровавым знаменем
и руки с крестным знаменем,
пробитые штыком.

* * *

Как длинное стихотворенье
с ухабами на месте слов,

в даль потянулась деревенька
дорогой в Старый Петергоф.
Невнятен мне словацкий говор,
но песня все-таки ясна.
Автобус скрылся за пригорок,
а там — Россия и весна.
Дороги чувство знает каждый,
как чувство холода в руке,
ведь все мы — песни, и неважно —
на чьем поемся языке.
И может быть, без откровенья
мы понимаем все без слов,
как понимаем деревеньку —
дорогой в Старый Петергоф.

Подражание Вийону

Ну что ж, мне откровенничать не жалко.
И я скажу, ни капли не тая.
Порою голосом — то вкрадчивым, то ржавым
я честно врал окрестным прихожанам.
Но, уверяю, это был не я.

Видал кругом коварства и обманы,
но слова лишнего впотьмах не оброня,
хвалил помойки, слякоть и туманы.
И не забыл набить себе карманы.
Но, повторяю, это был не я.

То был двойник мой. Он, признаюсь, грешен.
Такой стервец! Но он мне не родня.
Во всем замешан, кое в чем помешан,
он, говорят, был за вранье повешен.
Но, слава Богу, это был не я!

Гроздь

Н. Якимчуку

Ты меня оживил терпко-сладкой лозой
винограда.

Вкус его был приятней, чем добрая весть.

Слышу: смехом смуглянок из темного сада
просыпается радость за то, что мы есть.

Пусть в пустынные улицы снова заходят
туманы,

и потрепаны кроны безлистных почти тополей,
но мне кажется будто бы теплые страны,

словно гроздь винограда, зажглись на ладони
моей.

Не топчите лозу, даже если нагрет
ненастье,

даже если раскатится трубный зывающий
звук.

Нет погоды плохой. Не бывает надежды на
счастье.

Есть надежда на жизнь. Не топчите лозу.

И победы и беды смешаются, канут,
только вспомнишь, что был не один на тропе,
что лоза и стихи прорастали из камня,
и Господь милосердный дарил их тебе.

АНДРЕЙ БИТОВ

Записки из-за угла *
(Дневник единокорца)

«Вы, говорят, слишком молоды... А я говорю: не виноват.

Вот сейчас хожу и думаю: вот об этом бы написать, и об этом. И вон об том...

А потом, страшное дело, буду ходить и — о чем бы написать? О чем? Мое же дело?! Об этом?.. Но почему же именно об этом? Или о том?.. Тоже ни к чему.»

«Автобус» (1961)

Угол

18 июня 1963

Приснился мне сон. Словно бы какое-то собрание. Помещение, как всегда во сне, было неопределенным: не то зал, не то подвал,

* Эти внезапные записи явились продолжением небольшой повести «Жизнь в ветреную погоду (Дач-

то ли много раз мною посещенное, то ли я оказался там впервые,— собрание вроде писательское. Хотя словно бы ни с кем я не знаком... В общем, гибридное из сна и памяти сочетание: чего-то очень хорошо знакомого и чего-то совсем мне неизвестного.

Таковы были публика и зал. Собрание, по всей видимости, носило идеологический характер. Какие-то там кипят страсти, кто-то подличает, кто-то лезет; кто и что — не помню, только — мерзко. В зале (словно бы в нем нет окон или зашторены, заложены и запачканы наглухо) — полутемно, и свет слабый, грязно-желтый, а люди сидят, как в сельском клубе, на длинных простых скамьях — сомкнутые и неразличимые, слитные.

И вот словно бы все оборачиваются ко мне, и я, тихо стоящий где-то вдали от президиума, у стенки, оказываюсь центром. Словно бы указывает на меня со сцены Председатель, словно кто-то шепчет мне жарко в ухо, подстрекает (никак мне не обернуться к не-

ная местность)», продолжением настолько естественным, что и замеченным мной. Прошло четверть века прежде, чем они прилегли друг к другу в авторском сознании. Они объединены не только местом и временем действия и последовательностью написания, но, прежде всего, противоположностью метода. Попытка художественного остранения оказалась дополненной невозможностью исповеди. Кто прочитает, перечтет или припомнит первую повесть перед чтением второй окажется мне честь и услугу. Впоследствии я надеюсь издавать их только вместе. Я надеюсь, что чувства молодого автора на излете хрущовской оттепели могут что-то напомнить читателю из опыта сегодняшних наших переживаний. Это сравнение может сделать «Записки» несколько более современными и оправдать их опубликование. — А. Б. 15 апреля 1989 г.

му — все он из-за спины...), кто-то очень знакомый, может, из приятелей даже, и все-таки неопределенно — кто. И мне становится понятно, что от меня требуют «высказаться»: вот вы все молчите, отмалчиваетесь, а сами как думаете? Не так? Так имейте смелость... Я все не в силах отделиться от стены и уже чувствую, что, если меня вынудят, не могу уйти в кусты: отмычаться, ни да, ни нет, не правда и не ложь, — неопределенного желе из страха и желания остаться «честным» на этот раз не получится. И я скажу все, что только в силах сказать, по способности и потребности, состоянию и образованию, страху и упреку.

Я еще стою у стенки, мне шепчут сзади в ухо, подталкивают; что-то холодеет и опускается во мне от страха и решимости; в бешеном темпе мелькают в мозгу, перемежаясь спазмами боязни, обрывки первых фраз и варианты начал... и вдруг я стою на сцене, на этом любительском помосте: передо мною и чуть подо мной — зал, таится в темноте, молчит и дышит, — я его не вижу и говорю. Удивительно говорю, в трансе искренности и слепоты — как решившись прыгнуть, а душа ухает и замирает в полете... Может, и неумно говорю, но, по крайней мере, достаточно, чтобы взволновать себя и зал. Что сказал — и не запомнил, как ни силился потом — только две фразы:

«...Если Семена Бабаевского переместить в Китай, он там сыграет роль Василия Аксенова, а если Василия Аксенова переместить в Соединенные Штаты, то чью роль он там

сыграет? Так где же литература? Не о том речь...»

И другая:

«...Если миллионы, несколько, всех, что есть — то ли это еврей, то ли художники, то ли просто живые люди — собрали и повели куда-то под конвоем к обрыву, к расстрелу, к уничтожению, один из них оказался вдруг (трудно ли допустить ошибку при таких масштабах!..) не еврей, а удмурт, не художник, а слесарь, не живой, а труп, то он кричит: «Какая несправедливость!». Не от его лица говорю...»

И вот я кончил, я иду в узком проходе между скамьями, и кругом такое молчание, напряжение и дыхание, словно там не выход, куда я иду, а могила, обрыв, небытие. Я иду и просыпаюсь с каждым шагом.

А проснувшись вижу солнце из-за шторы и, напротив, кровать моей Аннушки: она проснулась уже, увлеченно и деловито торموшит пеленку и прибулькивает от наслаждения. Почему-то она чувствует, что я смотрю на нее, отвлекается от пеленки и смотрит на меня, узнает — это видимым движением проходит по ее лицу, узнавание — расплывается, обрадованная, и впервые говорит мне «Папа».

21 июня

Когда мы говорим: несправедливость, — всегда подразумеваем какой-либо общественный процесс. То ли тебя посадили, то ли тебя расстреляли, то ли лишили ожидаемых или

заслуженных прав или благ, то ли делу твоему помешали — всегда подразумевается какая-то протяженность времени до этого плачевного результата, какое-то количество лиц, участвующих, какие-то силы, посторонние, внешние, в это включившиеся. Все меняет свою окраску, если представить себе результат, нас страшящий, пришедшим внезапно и сразу, раздавившим в такую долю секунды, что ты ничего не успел и почувствовать, лишенным предыдущих мытарств, лживой логики, не умещающей в мозгу, общественного окружения, свирепых бумажек с подписями и протяженности. Тогда оказывается, что именно процесс, приводящий к результату, мы называем: несправедливость, — а не сам результат, который скорее — рок, судьба, конец, и, не будь этого изматывающего вращения в неких общественных сферах, когда мы осознаем приближение страшного результата, когда познаем силы зла в этой, общественной же, сфере, их неумолимую логику, заключающуюся лишь в отсутствии логики, в бесповоротной силе утверждения предписанного (когда такое утверждение совпадает с нашими интересами, обычно не ведется речь о несправедливости, а ведь механизм тот же у этих сил: одинаково, что они совпадают, что не совпадают с нашими интересами), не будь этого, осознанного лишь как внешняя механика неумолимых сил, то есть не помещающегося в сознании, вращения, — все превратилось бы в случай.

Представьте, к вам подходит человек, вы его никогда не видели, вы его не узнаете, с ним у вас ничего не связано (как, впрочем,

и с любым исполнителем) — и, поровнявшись, пристреливает вас... Может, смерть наступит мгновенно — тогда ваши близкие будут говорить: какая нелепость, нелепая случайность, еще вчера шутил... если смерть придет не сразу, то и вы, страдая, будете говорить себе: как досадно умереть так вдруг, по какой-то глупой случайности, — и все равно покинете мир, отлученным от причины задолго до смерти.

И вот теперь, в представлении, я часто опускаю процесс, который мы ощущаем как несправедливость, сокращаю его как краткую дробь и представляю себе непосредственно результат: нелепо, страшно, дико, глупо, случайно — ладно! — но причем тут несправедливость?

В том ли, что не было приговора, или в том, что тебе его не зачитали? В том ли, что ты не согласен с ним, или в том, что ты не признаешь права именно этого суда выносить его тебе?

В том ли, что ты боишься умереть, или в том, что ты не готов к этому? В том ли, что нет причины, или в том, что ты не понял ее?

Но даже если отказать себе в возможности постигать суть вещей, спуститься на порядок ниже и удовлетворяться лишь внешними и социальными категориями, то тем более несправедливость окажется понятием слишком тонким и разумным для мира, выстроенного и понятного на этом уровне (или, как мы в таком случае скажем, для современного мира). И суть вдруг окажется в том (если сократить все прочие вариации, на этом уровне качественно неразличимые), что может по-

дойти незнакомый человек и пристрелить тебя в любое время дня и ночи, в любой точке пространства — и уничтожить твои параметры.

(Удивительно это получилось у Кафки, хотя это и внешнее было бы для него рассуждение. У него это — как бы между прочим и само собой: одно из сечений созданного им объема...

Так вот, роман называется «Процесс», и а развязка — просто рок, просто убийство, и, на верхний взгляд, даже не взаимосвязано одно с другим).

Из-за угла

10 августа 1963

Упрешься в старые слова... Несколько месяцев назад я вдруг захотел написать стихи и, конечно же, не рискнул, а вчера они снова вспомнились мне. Слов не хватает, потому и не написал и не напишу, но вот что-то вроде подстрочника: «Ты увидишь вдруг то, что видел каждый день, и это пронзит и наполнит отчаяньем — приступ жалости, беспомощности и любви. Люди, маленькие и трогательные, вдруг побегут перед тобой по своим, казалось бы, делам, сходим «по-маленькому» и сходим «по-большому», они садятся в автобус и выходят из него, одни едут в одну сторону, другие — в обратную, одни останавливаются у газеты, другие становятся в очередь, кто-то что-то строит — кладет свой кирпич, а кто-то пьян совсем, тут еще и дождик пойдет, люди бегут, траектории их сходятся,

пересекаются, расходятся, автобусы и трамваи стригут паутину их движений, переезжают твой неостывший след, можно даже поразиться той акробатической четкости, с которой каждый бежит по своей дорожке и все цел, все невредим, и эта подсмотренная тобой ловкость усилит тогда твое ощущение до невыносимости: Боже, зачем, куда! — и ты остановишься, парализованный, ощутишь неподчинение рук, ног и почти всерьез придет тебе мысль, что и не восстановятся больше эти связи, закупорился канал, по которому павловские приказы коры приводят твое тело в движение, и люди продолжают свой хаотичный бег перед тобой, озабоченные, устремленные, и никуда они не идут на самом деле, «Как муравьи, скажешь ты себе, как муравьи...» и придешь домой и, если это чувство задержится в тебе так долго, что ты донесешь его до дома, то, может, сядешь и напишешь, будешь испытывать при этом подъем и словно бы озарение и напишешь: как муравьи, как муравьи... Будешь жить дальше и перечитаешь однажды и воскликнешь, усмехнувшись криво и победно: Господи, какой же я был дурак: ведь я ничего, ничегошеньки не понимал... и как же это я умудрился хоть что-то понять теперь? если настолько не понимал совсем не так давно! ведь это совсем не так и слова не те, и беспомощно до стыда! Некая гордость разопрет тебя, и ты будешь жить дальше и думать дальше и однажды умудришься настолько, что невыносима станет тебе твоя же мудрость и, словно бы усталый, с опущенными руками, взглянешь ты как бы с ее вершины, не уверенный, что сможешь уже

хоть когда-нибудь приказать хоть что-либо своей руке или своей ноге, и увидишь, как побегут перед тобой люди, пересекая и путая свои траектории, вдруг увидишь, что это молекулы скачут под несильными толчками, короткими прямыми отрезками гасят они инерцию, а толчок-то был: купить колбаски, затем зайти в аптеку — и под острым углом в другую сторону... и так они скачут и пересекаются, короткими черточками обозначая прямые свои отрезки, а потом назад, а потом вбок и еще раз вбок, один толчок, другой, пятый — и уже никакого направления не определишь ты в их движении — лабиринт, хаос — а каждый цел и невредим, и красота их движений, их уже природность как бы в джунглях, среди зверей и лиан, усилит твое ощущение, зачем, куда? — скажешь ты. Броуновское движение, броуновское движение... — будешь повторять ты. И вернешься домой и, если мозг твой еще способен удерживать ощущения в памяти, запишешь: броуновское движение, броуновское движение... Как муравьи, запросятся тебе на перо, как муравьи...»

Одна из лжей, обрекающих человека на несоответствие и мучение, заключается в том, что идея способна изменить мир. Мир изменяется, а не идея. Идеи же существуют всегда. Их потребляют люди, не знающие слов, и им кажется тогда, что поступки их наполняются содержанием и направленностью. Всегда существовала одна легендарная личность, которая породила идею, которой мы, товарищи, дышим и счастливы сейчас... и так все складывается и получается, что все человечество развивалось направленно и осмысленно,

плодом этого развития и явилась идея той выдающейся личности, и из этой идеи возник тот прекрасный и, наконец, осмысленный и справедливый мир, в котором мы, благодарные идее, живем... Так было всегда, во все, так сказать, времена и народы. И даже честные люди, выросшие в этой атмосфере подтасовок и стихийного шулерства, научились свободно перемещать в очередности действия и размышления о них так, чтобы сначала была мысль, а потом действие и ни в коем случае не наоборот и в этом обмане ощущать себя существом разумным и в этом же обмане, словно бы власть над миром, его подчиненность тебе, а ты — царь природы, вершина, венец, венчик ты.

Упрешься в старые слова... Человечество живет так: обманывая себя. Некоторые обманывают только себя — это честные люди, некоторые себя и других или других, а потом себя — это люди нечестные, это эксплуататоры и экспроприаторы, политики и властители дум, тираны и фанатики. Человек живет так: обманывая себя. Опереточный, романтический тиран: обманывает только других. Это внемеловечно, так, впрочем, и не бывает. Обычный, житейский тиран: для начала немножко обманывает себя, потом очень много других и, в конце, снова себя — чуть-чуть. Мудрец не обманывает ни себя, ни других, он знает, он ничего не может сделать поэтому, даже слова сказать, он неизвестно где, потому что, неспособный к действию, не обнаруживает себя, он невидим, его и нет. Он тоже внемеловечен и поэтому его тоже не бывает. Художник, бедняга, — жар и холод, жар и холод — и так

всю жизнь, пока жив талант, он живет, как человек: обманывая себя, при этом он рождает и тогда обманывает и других, к тому же он вдруг обнаруживает обман, страдает и становится мудрецом (на некоторое время) и тогда он ничего не может делать и поскольку мудрец — это небытие, он невидим, его нет, художник возвращается к жизни через новый обман, который никогда не нов, и все повторяется снова. Он живет, разворачивая перед собой идеи, которые никогда не новы, он живет, создавая свои подобию и подобию своего мира и обманывает людей тем, что оправдывает их существование, не как зверей и птиц, которым Господь даровал жизнь, а как начала разумного, венца, венчика. Он живет лишь минутами мудрости и разочарования, впуская в сознание идею о том, что идея не способна изменить мир, и снова глупеет, чтобы продолжать свою жизнь и дело, он живет и бросает в мир новые идеи, старые как мир, и даже то, что немые, слепые и глухие люди вооружаются ими, губя одним своим дыханием, превращают их в дубины и всегда, всегда убивают его, потому что идея нужна им всего одна, а он может родить другую, даже это никогда не убивает художника. Он приносит свои плоды и роняет их в землю, и они приносят новые плоды, не лучше и не хуже, одинаково прекрасные и неповторимые и отличающиеся лишь тем, что они существуют в настоящем времени, словно бы всего лишь «переведенные на язык современности», но это только — словно бы, потому что рождаются они всегда, как впервые сказанное слово.

11 августа

Старые слова... Скажем так: человеческие усилия суетны и тщетны. Суета... я вдосталь наигрался с нею, внутренняя борьба с ней, тоже своеобразный ее культ, в моде сейчас у передовых людей, слово это воскресло у многих на устах, и возрождение это связано с некоторым вообще оживлением в последнее столь, увы, недолгое время, это слово свидетельствовало о некотором уже уровне душевной жизни передовых людей и, хорошо бы, подольше не исчезало. Но по кругу душевного опыта и понятий, очерчиваемых им, употребление его и волнение им свидетельствует о вере в прогресс, окруженности и непрестанном разрешении общественных головоломок, оно не выводит из сферы поминутных ощущений, оно невежественно и оптимистично, поэтому оно как бы подразумевает существование в море бесцельности и бессмысленности какого-то высшего смысла и высшей цели, это всегда и у всех очень абстрактно, возвышенно и смутно. Оно как бы зовет к ясной жизни, чистому служению и высокой цели, на самом деле все обуславливается выигрышем, повышением КПД, без суеты можно сделать много больше и много лучше и получить тот самый первый приз, абстрактное и сильное представление которого все-то и стимулирует, хотя этого приза и нет, потому что он у каждого свой. Так что возня с суетой, ее культ, ибо это стало чем-то вроде паспорта духовной жизни, и каждый похваляется своим мученичеством в борьбе с нею, еще не выводит из той неширокой области

общественных шевелений, из противопоставления которой вытекает. И хватит о ней. Другое дело тщета. Слово это внезапно исполнилось для меня глубокого смысла, и весь мой опыт, сам собою, пристал к его берегу. Пользы говорить об этом, конечно же, немного. Это почти извращение пробовать в период художнически-беспомощной мудрости создать что-либо, используя это свое состояние, это было бы отвратительно, если бы естественно не вытекало из природы художника, которому тем более хочется доить себя, чем менее он к этому способен. Мудрость похожа на перевертыш, она не может существовать в одном желаемом высшем смысле, если существует попытка высказать ее. Конечно же, противоречиво желание высказаться глубоко о тщете, потому что это возможно лишь в случае глубокого сознания ее, а это сознание исключает возможность и способность ее выражать. Но я хочу жить и постараюсь поспешно абортировать беспокойную идею. Даже больше, вдруг окажется, что круг друзей моих воспримет то, что я пишу сейчас, как близкое, сопереживает и станет мне благодарен за тот предел искренности и выраженности, которого я пытался достичь, ну, хотя бы, один или два поймут, окажутся в той же фазе или на подходе, тогда все мое состояние и писание сейчас перейдет в полную свою противоположность. И я получу удовлетворение и еще одно подтверждение, что дело мое бесполезно, а наоборот направлено и необходимо и что — так держать и подъем и высокую оценку себя и приподнимание надо всеми, бодрый шаг, легкость и желание работать и работать даль-

ше и как много я еще могу сделать, фаза пройдет, ее не будет, я спущу шторы сознания, чтобы ничто не мешало мне делать то, что я способен в этот момент, это будет счастливое состояние, когда я буду уходить от друзей, воспринявших то, что я сделал, такси будет не поймать, пойду пешком домой и несколько романов будут толпиться в моей голове, споря за право предпочтения. Все будет прекрасно, то же волнение, суета, так же будет досаждать мне она и не давать написать все те прекрасные романы. И не думаю, что услужливое мое, здоровое еще сознание, позволило бы мне однажды не вынырнуть из безнадежности вдруг понятых вещей. Каких только скотских слов не придумало человечество для обозначения этих переходов, этих непрерывных измен истине, этих трусливых побегов под сень лжи. На двух языках говорит человечество — всего на двух! С какой радостью, преодолев муку сознания и снова ощутив себя жизнеспособным, вспоминаем мы слова и удивляемся их точности: преодолел себя, поборол себя, справился с собой, сила характера, сила воли, служение людям, святое дело... Мы возвращаемся по пустым улицам припрыгивающей от энергии походкой, какими глазами смотрим мы тогда на девушку, одиноко спешащую домой. Мы снова способны осеменять и неспособны любить, мне кажется, погружены в себя, наслаждаемся собой, существо наше открыто жизни и наслаждению, мы — боеспособны! И ты вспомнишь все физиологические объяснения своего недавнего состояния, отказываясь от его сущности и правды, ты обратишься сам по

отношению к себе в ту непрестанную равнодушную и ласковую сиделку, что окружает нас в мире, переодевшись любовью, ты скажешь себе, как говорила она: ты устал, ты был усталым, тебе не везет, тебе не везло, поэтому понятно твое состояние, и словами, навсегда уже испорченными, ты похоронишь этот свой период, чтобы и не вспомнить никогда: фатализм, криво и победно усмехнешься ты, пессимизм. Если рискнуть на образ, то как бы два времени года в нашем сознании: лето и зима. Препарировав, можно бы было выделить, наверно, и осень, и весну. Не настолько я сейчас жизнеспособен, чтобы идти на припрыгивание над образом и наслаждение им. Но, впрочем, весна — начало лета, а осень — начало зимы. Тот вечер, то припрыгивающее возвращение домой от понявших и оценивших друзей, можно считать весной, за ней будет лето. Сейчас — допустим зима, но тоже не совсем, вот нахожу я силы писать эту пустоту. Ну, не зима — так осень. Я не о том хотел сказать. Разными словами говорим в эти разные времена года нашего сознания (будем считать, что этот год не имеет ничего общего с астрономическим). И для жизни и дела нам приходится отказаться от тех немногих слов другого языка, что существуют глубокой и вечной жизнью. Мы конечно создаем духовные ценности, потому нам эти слова необходимы, мы трясем ими, но используем их, осознаем их на глубину лужи, по смутным и гонимым воспоминаниям зимы нашего сознания, далекие и сытые мы сами же затираем эти вечные слова, чтобы следующей зимой безнадежности и оглядки на свои дела

еще раз устыдиться, на что мы их разменяли. Мы живем и делаем и говорим на другом языке, спящего и сытого сознания. Как охотно повторяем мы, что страницы, созданные во вдохновении, беспомощны и слабы, и наоборот, то, что написано в холоде и равнодушии, почти скуке — звучит как вершина нашей вдохновенности. Языка мы того не знаем, тех слов, вот и получается слабо, что их не находим. Спокойные же, плаваем в языке и словах, нам доступных.

А начал я, между прочим, говорить о тщете и всякое говорю, держа ее на расстоянии, потому что не хватает, не знаю я этих слов, для самого мучительного и сильного моего сейчас чувства нет у меня слов-ключей, и стыдно заменять отмычками и взломом.

Впрочем, неизбежно я пишу сейчас именно об этом и только об этом. О тщете. Я пишу это бесполезное и вредное произведение, и, в конечном счете, хочу поскорее выбраться из него, и где-то у противоположного берега моего сознания ходит большая рыба, которую я втайне хочу поймать. Я хочу заманить ее. Я буду писать и писать, пока она, усыпленная, не подойдет ближе, я смогу выдернуть ее тогда. Где-то я хочу, чтобы, завязав все нити, запутавшись в них, уже в отчаянии, путая очередность и взаимосвязь, дергая за первую попавшуюся, как-то вдруг, чудом попадет мне в руку нужная леска, на которой сидит нужная мне рыба, и все так сойдется и образуется, что в конце концов приду я к настоящему утверждению, которое наполнит меня верой в необходимость дальнейших моих усилий, я переплыву, перелечу, призем-

люсь, выйду на берег, в полной уверенности, что эта не та же, а совсем другая суша, к которой я стремился, где я наконец пойду, и все это лишь из-за того, что берег противоположный, и не сразу дойдет до меня, что нет никакого качественного различия в их противоположности, что они поменялись всего лишь местами, и означают по-прежнему равновесие и неравновесие.

Я писал о временах года нашего сознания. Мне уже трудно стало выдерживать напряжение полной речи, я хотел прочесть жене, что написал, и успокоиться на сегодня. Но жене надо варить кашу, она сможет позднее, а я вышел на балкон, закурил и пристально посмотрел на деревья и дома, и, помимо осознанной моей воли, получилось, что посмотрел как мудрый змий, тут уже не отделить, что нам кажется и что на самом деле, где поза, где красивость и где естество, и в какой мере наблюдались эти поза и красивость, не в той ли, что не только не противоречит естеству, но и является им? Так стоя и вспомнив о временах года нашего сознания, увидел я дерево, которое было перед моим носом и подумал о временах года вообще. Только что я отказался от этого образа, глядя на дерево, мне представилось возможное развитие его. Жизнь и природа в своих циклах представились мне бесконечным рядом обнимающих друг друга сфер, у них есть полное подобие, и различие количественное времени и пространства их существования и не совпадения по фазам цикла. Но всюду завершением цикла является смерть. Наше нежелание этого ничего не ме-

няет, оно закономерно исходит из того, что мы, постоянные свидетели проявлений законов жизни и открыватели их, сами подчинены тем же законам и не хотим сознавать этого в применении к себе. Мы произвольно обозначаем вершинами развития те моменты, когда нам было лучше всего. Таким образом, мы опять же начинаем верить в прогресс, целенаправленность развития и принимать желаемое за действительное. Мы не хотим считаться с тем, что то, что мы считаем вершиной, лишь точка пути развития, с самоуправством нами выделенная, что для природы все равно, хорошо нам или нет, и что она не остановится на этой точке, а пойдет дальше с неумолимостью, мы назовем это несправедливостью или спадом, чтобы надеяться, что справедливость, выдуманная нами и которой нет в природе, восторжествует, что спад сменится подъемом, что после старости придет молодость, после осени — лето... Да, все повторится, но нас при этом не будет, мы однократные свидетели, поденки, и нас это не устраивает. Но у природы нет цели, она бесконечна и вечна в своих смертях. И зима является концом цикла, а не лето, которое так нам по душе. И смерть является концом каждой особи, а не зрелость. И сознание наше в своем развитии имеет тенденцию к своей зиме. Только сознание лишило нас безропотности твари, и мы прибавили себе мучений. Сознание, противореча себе, из эгоизма, из я, стало желать того, что невозможно в природе, — остановки. То, что существует в природе в виде конечных и бесконечно повторяющихся маленьких и больших циклов, мы хо-

тим растянуть в бесконечность, остановив в точках, нами любимых, сознание позволило нам осознать наслаждение и пожелать его бесконечности, мы хотим, а не получается, не получается! И это мы зовем жестокостью жизни, мы хотим жизни любимых, а они умирают, мы хотим бесконечной любви, а она кончается в нас самих, какого-то непрекращающегося оргазма хотим мы, а сами почти импотенты... Надо, а скорее вовсе не надо, понять, что нельзя принимать свое вполне естественное внутреннее сопротивление и возмущение неумолимостью природы за доказательство существования цели, смысла и прогресса. Наше карабкание, осененное обманом цели необходимым для жизни сознания в природе, не стоит, смешно принимать за подтверждение наших идей, потому что идеи породили карабкание, не природа. Зима естественно завершает год. Смерть естественно завершает жизнь. Человечество естественно придет к своему концу. И солнечная система тоже. И нет в этом никакой трагедии перед лицом Природы и всего лишь трагедия одной особи, наделенной сознанием и не справляющейся с ним. У сознания тоже есть свои зимы и своя окончательная зима, достаточно пока далекая, а, может, и вовсе близкая. Может, зима сознания ближе, чем зима человечества.

18 августа

Если такой взгляд может показаться слишком черным, можно всего лишь начать рас-

суждения с другого конца, и напирать на то, что все начинается с рождения, с весны, с первых радостей сознания... и действительно — это силы созидания. Так происходит в быту оптимизм и пессимизм; куда взглянуть, в начало или в конец своей книги... но и то и другое — лишь наши спасения и поражения, эфемериды, их так же нет в природе, как и любых наших моральных и духовных категорий, и ничего не меняется в природе от нашего взгляда на нее, откуда бы мы ни взглянули. У меня не было отчаяния, когда я говорил о смерти, я пытался увидеть вещи так же естественно и холодно, как думает природа, истерики тут все-таки не было и оправдываться не в чем.

Если я говорил о смерти, как о естественном завершении любого процесса, то, во-первых, я говорил о том, что всем известно и никогда, в то же время, не может явиться знанием живого человека, самое понятие смерть — это лишь постройка нашего сознания, исходящая из единоличного, вопреки очевидности, протеста, в природе эта штука равнозначна с любым другим явлением, там нет ни оттенка, ни привкуса, которые мы ощущаем, одна лишь необходимость; во-вторых, если я говорил не только о бесчисленных смертях бесконечно-малых величин природы (человеческая жизнь достаточно долга, чтобы он стал их свидетелем и даже терял им счет, и эти атомы смерти тоже очевидны каждому и тоже не могут явиться знанием), но и всеобщей, конечной смерти обнимающей все сферы, то, во-первых, я имел в виду не конечную, а всего лишь ту сферу, которую могу

себе представить, продолжая их в бесконечность, а во-вторых, я говорил скорее о тенденции к конечной смерти, нежели действительно об окончательной смерти, абсолютном равновесии и абсолютном нуле. Мы не можем стать тому свидетелями, это слишком далеко от нас, да и не нужно нам, нам чужда жалость к грядущим поколениям, свидетелям потухающего солнца, тем более, что она глупа — человечество много раньше сойдет на нет от кризиса и смерти сознания — но тенденцию всего живого к смерти и даже окончательной, можно ощутить, она в нас, в нашем мозгу и в итоге нашего сознания. Без конца можно отряхиваться от этих мыслей, чувствовать себя выздоровевшим, радоваться травке и солнечному лучу: какая весна, как прекрасна жизнь! — будешь выходить и выходить ты на крыльцо до самой смерти, но все это опять же побег от нелепого нашего страха и радость тому, что казалось невозможно, а вот и еще раз убежали, и опять невозможность просто сказать: да, это так. Я употребил слово тенденция, как однажды понравившееся мне. В институте, уча нас непонятой и кастрированной диалектике, преподаватель сказал так: мы говорим, что при капитализме трудящиеся массы идут ко все большему обнищанию, однако знаем, что уровень жизни в развитых капиталистических странах не только не падает, но и растет, и даже (разговор уже велся со всей игрой в прямоту и откровенность, в то, что мы смотрим правде в глаза и т. д., разговор конца пятидесятых гг.) знаем, что уровень этот превышает наш и не только, как данность, но иногда и по

темпам роста, как мы видели в ФРГ, так вот, если мы говорим о растущем обнищании трудящихся масс при капитализме, то мы говорим о тенденции к этому обнищанию... — так говорил преподаватель и так он ввел в мое сознание новое диалектическое понятие. Наверно, кто-нибудь заработал себе степень на таком прелестном переложении. Меня всегда поражали репутации умных и творческих голов в мертвых областях и их карьеры. Наши либералы, например, насквозь в этом. Потому что не обнаруживается ли прогресс (пусть это частица, полумера, пусть, говорят они убежденно и как бы оправдываясь) даже в этой формуле?... даже в том, что применять ее стало возможно, увидят они прогресс, эти первые спасители существующего порядка, неприменные переодеватели старого в новое, гримировщики трупов, двойные спекулянты, не берущие на себя даже цинизма в достижении благ, стяжатели, завернутые в знамена идей прогресса и вспоможения новому, и выглядывающие оттуда, как тля из куколки, или как там в этой... ботанике!

Отступив и дав волю своей злости и даже не столько злости (это уже усталое чувство по отношению к ним), сколько желанию позлиться, исполнив таким образом некое душевное отправление так же формально, как мы, за редкими вспышками жизни, уже привыкли все исполнять, включая и любовь, необходимо вернуться к теме, хотя ее уже нет в этом сумбуре. Успокою себя на том, что, если чем-либо и будут скреплены эти страны, то это выйдет помимо моих усилий, хотя и в их результате, и еще тем, что только

в этом случае и может появиться нечто, чего я еще не выявил в себе и не выразил. Успокоив себя так, продолжим.

Как я и предвидел, как я писал об этом неделю назад, мое письмо обернулось в свою противоположность, ибо я уже встретился с друзьями, которые и прочли те страницы и откликнулись на них пониманием. Это мое предвосхищение не наполняет меня однако гордостью. С грустью я обнаруживаю, что уже не получается той радости, какая, например, возникла после рассказа «Люди, которых я не знаю» (1959), где я описал смерть одного персонажа, которого я постоянно встречал и с детства приглядывался, и через несколько дней я увидел этого персонажа точно так лежащим, с точно такой суматохой вокруг, как только что описал. Определенная гордость распирала меня, и я рассказывал об этом всем встречным понимающим и знающим меня людям, облакая этот новый рассказ о рассказе в форму как бы мистического ужаса, как бы стыда за содеянное, как бы утверждая этим идею того, что письмо вообще (а в частности мое) может обретать такую плотность и воплощенность, что и действительно случаться в жизни, и что поэтому никак нельзя писать о живых людях и тем более убивать их в рассказах; я создавал и определенный свой образ, повествуя об этом, образ не только сильного рассказчика, но и человека, способного быть потрясенным и задетым настолько, что он не в силах забыться от своей боли, что воспоминание о моем как бы убийстве как бы терзает и не оставляет меня. Я не бичую себя сейчас, отнюдь. Я был

вполне искренен в своей игре и верил в нее, да ведь и не одна игра была в этом, было и то, о чем я говорил тогда, только слабо было, чуть-чуть, и потом очень усилено в изложении и в повторении. Так ведь сплошь мы усилием наши чувства, выражая их. Особенно в письме. Это, может, и есть творчество. Отсюда и вечное житейское: что книги — ложь (при этом имеется в виду, не идейная канва, что ложь всегда, а чисто житейская, воспринимаемая обычным читателем — я говорю, конечно, о честной литературе), и, из-за этого же усиления чувств при их выражении, тоже житейский разговор, что художник только в творении прекрасен, а в жизни, если бы вы только знали этого мерзавца в жизни!.. Так вот, я был искренен, искажая и усиливая в рассказе эту действительную историю, и мое желание похвастаться этим случаем кажется мне свидетельством таких непочатых сил, что вызывает теперь только зависть. По сути, я хвастался, разыгрывая потрясенность и мистический ужас и как бы приобщался к Флоберу, почувствовавшему признаки отравления, отравляя мадам Бовари, и к Пушкину, плачущему или прыгающему над неожиданными поступками своих героев, и, хотя не говорил себе об этом, но чувствовал себя равным им. Это трогает меня тем более, что, воскрешая сейчас перед собой тот момент, когда я увидел реализацию своего рассказа в жизни, я вижу: сцена ничем не походила на мной описанную и только одна деталь: стоптанные задравшиеся башмаки умершего — совпадала... Так ведь эти башмаки я всегда на этом персонаже видел, и всегда

они были стоптаны, но этой детали было достаточно, чтобы, по одной точке соприкосновения и по неосознанному внутреннему желанию, полностью совместить картины во всех точках: очень мне, по-видимому, хотелось этого. И потом умилителен и еще один момент, когда вскоре снова встретил своего персонажа живым и здоровым (по-видимому, это был лишь обморок тогда), и когда я снова увидел его, два чувства почти равные по величине и силе, столкнулись во мне, выявляя друг друга, одно, самое искреннее, которое я постарался не осознать и подавить, было разочарование в том, что этот персонаж так и не умер, убитый силой моего воображения, и другое, разработанное и привнесённое, с которым я не мог не считаться, чтобы не выявить некую внутреннюю нечестность, было то, что я должен испытывать как бы облегчение и радость, что освобождаюсь от того как бы терзания совести, о котором так охотно и горько рассказывал. Не о чем говорить, разочарование было все-таки сильнее, хотя я и не позволил себе осознать это и осознаю буквально сейчас, вспомнив об этом ни с того, ни с сего, и, в свою очередь, сказав все во имя новой конструкции. Но заговорил об этом я все-таки не даром, вернее, не без внутренней причины, потому что усиление чувств при рассказе и, следовательно, искажение их и ложь, очень занимают меня сейчас, и глупый, по-видимому, стыд перед этим часто почти парализует меня в моем письме. Тем более, что путь, который я осознал себе в последнее время, заключается в том, что я стремлюсь написать правду о са-

мом себе, ибо это единственная из доступных мне правд, и она становится всеобщей, если достигается, что, если выразить полноту мгновения собственного твоего существования, то это и будет вершиной, и, так думая и стремясь к максимальной искренности, я всеволю себя на искажении и лжи, и, уже сознавая невозможность собственных требований, все-таки не могу от них до сего дня отказаться и, отметая по одному все сильно действующие приемы, уже бывшие доступными мне и явно приводившие к воздействию на читателя, даже избранного, все чаще не в силах поднять перо, потому что все формы, сбегаящиеся к его концу, вызывают во мне стыд... хотя бы только что написанное мною слово «перо», потому что уже полтора года пишу прямо на машинку и пером не пользуюсь... ну, да это-то пустяки — подобные «перья», если бы только они!

Да, так совершенно не вызывает во мне гордости то, что я знал, что понесусь с этими страницами к друзьям, требуя от них сочувствия и похвал и безусловно «ставя им минусы», если они этого сочувствия не обнаружат («ставить минусы» — одна из самых мной любимых черт, хотя я и сам, бывает, грешу этим: я скажу еще об этом, когда стану говорить о суде, если доберусь до него). Я знал, что так будет, и уже далек от мысли, что знание своих слабостей исключает их. Иначе бы не было литературы, не было бы живых людей и их гениев. Знание слабостей своих, скажем, и даже борьба с ними, никогда не исключала их. Спекулянты во все времена стремились создать идеальные образы из гениев,

мертвых, конечно. Мертвые, они уже были бессильны поправить что-либо. Люди же, задуренные настолько, что уже не видели живого в их творениях, а лишь документы, тянулись к дневникам и перепискам, чтобы узнать в них живых людей, себе подобных, чтобы не отчаяться от своей слабости, которая (особенно это сейчас стало) кажется юному мозгу его личным проклятием и заставляет мучиться тем, что он единственный такой безвольный и слабый, не такой, как все. Каждое детство, по-видимому, докажет это. Потом начнется мучение (через кризис открытых глаз, когда обнаруживаются сходства и подобия во всем мире и кажется, что тебя обманули, а, главное, обманывали всю жизнь; мир опрокинется на тебя своей похожестью, вечностью и нечистотой), потом начнется мучение, что ты такой, как все, совершенно без воспоминания о том, что только что ты мучился вещью, казалось бы, обратную; что ты единственный так плох в этом правильном мире, единственный не можешь справиться с собой и довести себя до идеала, что ты урод, не такой, как все. И потом, привыкая и не справляясь с собой, скажешь (и это будет почти усталостью): ... все мы такие, как все, и каждый из нас единственный. С этим уже и умирать можно. Впрочем, о непрерывном искажении действительности через внутренний и общественный образ этой действительности тоже хочется сказать подробнее и особо, ниже, так сказать, опять же только бы добраться до этого «ниже».

Так вот меня уже ничто не поразило в том, что все так и произошло, как на страницах,

писанных неделю назад, кроме, разве, того, что это произошло даже много раньше, чем я планировал. И я возобновил сегодня свои записки, уже вдосталь разрядившись в общении с друзьями. Но ведь неизвестно мне, что и сегодня — воскресенье и погода без дождя — могут приехать друзья и снова произойдет контакт, заземление и разрядка... и, если я сел именно сегодня, а перед этим целую неделю все был не в силах сделать это после предыдущей разрядки, то не потому ли, что тороплюсь добавить новенькие страницы, чтобы успеть их прочесть сегодня тем друзьям, что приедут? Но это и вовсе досужее.

Я приехал в город... какой там, к черту, город! Я так и не доберусь до этого. Только что написал о том, что приедут сегодня приятели — и тотчас — есть, воплотились — приехали. И сейчас пишу уж вовсе для ничего — для того, чтобы друг снял меня из своей прекрасной кинокамеры, как я на своем чердаке работаю. Очень это симпатично получится.

4 сентября

Продолжим. То, как меня не радовало собственное предвосхищение, а именно: что я стану читать эти страницы друзьям в надежде на сочувствие и вопреки сознанию ненужности такого чтения, даже прежде того, как завершу эти страницы, напомнило мне следующую историю, рассказанную неким П. Этот П., давно я его не видел, человек во многих отношениях замечательный и представляет собой идеологическую величину, которую я бы

даже избрал в качестве единицы измерения, если бы возникла необходимость измерять тот особый потенциал особой категории людей, которые предпочитают воздействие на других людей скорее словом, нежели делом. Можно было бы сконструировать машинку, которая, выслушав очередного болтуна, выплевывала бы чек с оценкой: 10 П. или 0,000075 П. Не будем никого обижать: для начала можно было бы предложить ей этот текст. Человек этот, наделенный многими талантами, и, во всяком случае, очень чувствительный приемник телепатических идей (сейчас это стало как бы нейтрализовать невежество или замещать знание), обладает и бесспорным талантом писателя в том числе. Вещей его я не читал, и никто из известных мне его друзей не мог похвалиться тем, что был этого удостоен. Он показывал мне огромную корзину, набитую рукописями (ни один из моих знакомых не мог бы похвастать, что написал столько), и, опустив в нее руку, вытягивал наугад один из листков, на нем всегда оказывалось изложение замысла той или иной будущей вещи, и, не глядя в него, начинал рассказывать, и это он мог делать бесконечно или, по крайней мере, столь долго, сколько вы могли у него просидеть. И вот на протяжении уже нескольких лет я не забываю и часто вспоминаю одну подробность из одного долгого его рассказа, еще в форме замысла занимавшего около часа непрерывного устного рассказа. Эта подробность своим подобием многим моим переживаниям, потерявшим от повторения остроту и ставшим лишь тихим мельканием, не вызывающим ни

боли, ни угрызений совести, иначе — старость, заскорузлость, короста на непобедимых душевных болячках, подобие этой подробности многому из моего опыта и, в частности, упомянутому выше предвосхищению меня сначала настораживало, а потом, тоже начиная стареть, лишь угнетало и огорчало... и пора уже переходить к самой подробности...

Один старик жил у себя в комнате. Был он совершенно один, и комната у него была запущенная и пустая, как у мистика. Там была намечена атмосфера, состоящая из каких-то кошек, странных девушек, почему-то приходивших к старику и спавших с ним, темных коридоров и какой-то бесшумной и бездейственной коммунальщины, окружавшей одинокого старика, словно бы просто бывшей в воздухе, делавшей этот воздух уже не воздухом, а супом, некоей питательной средой, в которой существовал микроб его одиночества. Длинные описания его несложных маршрутов в уборную и кухню, предварявшие все не начинающееся действие, давали серьезное представление об этой питательной среде и все это точно передавалось органически получающейся формой, насыщенной всевозможными трудно доступными слову фактурами стен, полов, штукатурки, пыли, фактур цвета, света, вязкости, плотности, осязания, обоняния и т. д. — тоже своего рода супа из фактур, необычно густого. Так вот этот старик, однажды проводивший свою ночь в одиночестве, вдруг проснулся и долго привыкал к непонятному по фактуре ощущению, пока не понял, что это он хочет есть. Тогда он вспомнил, что на кухне у него есть колбаса, и от-

правился во многоминутное путешествие от своей кровати до кухни, и оно становилось настоящей одиссеей, благодаря подробно переданному ощущению кожи босых ног старика от прикосновения с этой поверхностью, ощущению рукой старика холодной ручки двери, и нового пола в коридоре, и темноты коридора и потерянному ощущению длины пройденного пути и скоро ли кухня в этой темноте, и поверхности обоев, которых он касался, касаясь стен и направляя свое слепое путешествие, и нашаривание рукой выключателя, внезапное освещение кухни, ощущение пола в кухне, изменившееся от его освещенности, и ощущение тесемок кальсон, шмыгавших по этому полу при каждом шаге, и т. д. и т. д. и, наконец, возвращение назад, с колбасой, снова потушив свет в кухне, снова в темном коридоре и, то ли оттого, что снова наступила темнота, то ли от того, что старик вдруг ощущает неудобство при попытке коснуться стены, он вдруг обнаруживает в одной руке (в другой у него колбаса) тяжелый холодный чайник. Он вспоминает тогда о том, как взял чайник и наполнил его из-под крана, и не сразу понимает, зачем он это сделал...

И вдруг щемящее чувство собственной старости пронизывает его, ибо до него доходит, что даже ни разу не подумав об этом, он уже знал, что после соленой колбасы ему захочется пить, и, помимо всякой мысли, идеи, он, не заметив сам, наполнил и понес чайник, чтобы не ходить вторично на кухню, когда он съест колбасу и захочет пить.

Я кажется перестарался в изложении и, может, не совсем понятна связь, но я не в си-

лах пояснять дальше и хочу теперь продолжить другую, много раз начатую и много раз брошенную фразу о том, как я приехал в город и встретил друзей, чтобы так же, наконец, со вздохом разделаться с ней, как разделался только что с не менее мне надоевшим повтором фразы о том, что предвосхищение моего преждевременного чтения первых страниц «Записок» своим друзьям отнюдь не наполняет меня гордостью.

Итак, я, кажется, приехал в город. Встретил я случайно Г. и К. и обрадовались мы друг другу необычайно. К тому же у них у обоих, только я встретился с ними, вдруг получились приятные деловые известия — и встреча и известия — все это взбодрило нас необычайно, такая радость любви и припрыгивания появилась в нас и мы выпили у Г., потом у меня, потом на чьей-то свадьбе и, пожалуй, отправились бы допивать к К., если бы не кончились деньги, а, главное, не закрылись бы магазины. Радость наша друг другу, во всяком случае, моя, была так велика, что сняла с меня все омертвление, все, из-за чего я пишу эти записки, как морское купание. Словно бы от их присутствия рядом снова появились и стимул, и уверенность в своем деле, и не одиночество в своем деле, и ощущение силы и того, что уже достигнуто нами. Мы пили и радовались и, как всегда, когда изверившиеся обретают поддержку и внятное общение, меньше даже делились наболевшими мыслями и соображениями, как просто были благодарны друг другу и умиленно поддакивали и кивали даже неважно чему, по одному лишь ощущению, что друг друга-то

мы всегда пойдем и лишь почаще нам встречаться, а то и вовсе не расставаться и, как всегда, когда люди одиноки и вдруг радуются встрече, мы лишь кивали друг другу, как вежливые китайцы и словно бы благодарили за каждый кивок или звук или жест и словно бы терлись носами. Мы выпивали свое самое дешевое вино. Так-так-так, вдруг говорил один. Мы его целовали и обнимали, спасибо, говорили мы, что ты сказал нам так-так-так, мы тоже всегда так думали и были в этом одиноки, а теперь мы в этом не одиноки, тогда он обнимал нас и целовал, да нет, вам спасибо, что вы поняли мое так-так-так, и я теперь не одинок, вам спасибо, и тогда мы все обнимались и благодарили друг друга, все кивали головами, и стукались в благодарности лбами и словно бы терлись носами и снова выпивали за это. И так-так-брык, говорил другой и опять его все благодарили и он благодарил всех, и каждый благодарил за то, что другой ему благодарен, а потом за то, что ему благодарны, за то, что он благодарен. Глупые люди, недоумки использовали это в анекдоте — на самом деле все не так. И утюр-лю-лю, говорил я, и мы выпивали снова, и я был счастлив своим утюр-лю-лю, таким же хорошим, как и так-так-так и так-так-брык моих друзей. «Все-таки мы кошмарно терпеливы», говорил К., и это была замечательная фраза, и в ней была правда против тех, кто считает нас нетерпеливыми, и наша уверенность, что мы все-таки живем несмотря ни на что и еще продолжим и еще сделаем и еще добавим. И мы выпивали и терлись, благодарные, носами. То-

гда-то и были прочитаны первые тринадцать страниц этого текста и прочитал их пьяный Г. и так донес даже до меня все, что я там написал, и много больше, что я удивился и ему и себе и умилялся и готов был всех обнимать и целовать, но сдерживался из авторской скромности. О Г. и К., людях так много значивших для меня и для того, что успел понять, не отделаешься высказыванием, как о П. О них надо сказать много больше, и я попытаюсь ниже выразить, что сделали для меня они и некоторые другие люди, а пока перейду к какой-нибудь из мучающих меня идей, связанных непосредственно с возникновением этих записок и с нынешним моим состоянием. И это я сделаю завтра.

18 сентября

Этого я не сделал ни завтра, ни послезавтра, не сделаю и сегодня через две недели. Сочинение мое выходит из-под надзора и охвата. Что я отражаю в нем, в целом, не знаю, но изменения интонаций и настроения за время, последовавшее за первой страницей, ощущал уже несколько раз, и теперь повествование мое как бы дневником становится. Никогда я его не писал и вот грешить начал, утешать себя впрочем можно: и тем, что выходит он дневником как бы особым, и тем, что родился он органично.

Тон трагической умудренности и вселенского абстрагирования сменился соображениями более частными и элегическими, последние страницы о городе — уж вовсе элегия. Но сейчас, спустя полмесяца, вижу, что

зря я сделал свой наезд в город событием столь радостным, когда описывал встречу с Г. и К., потому что не одна эта встреча имела место и даже не такое большое место в городе она занимала.

Город теперь окончательно делает меня больным. Я в нем простужаюсь. Я в нем задыхаюсь. Я в нем начинаю ненавидеть. Я в нем жить не могу. И без него жить не могу. Я приезжаю, оторвавшийся от событий и дел, от встреч и знакомств, от свежих интеллектуальных поветрий и новеньких идеологических потрясений. Вотчина писательская плескается в своем пруду, и я ничего не понимаю и вижу только пену. Я обнаруживаю потом, после нескольких встреч и разговоров, когда у меня уже начинает звенеть и кружиться голова, что я в чем-то очень ошибаюсь, вижу мир как-то совсем не так, как видят его все, и главное совершенно неправильно ориентируюсь. Что я заблудился в этом литературном лесу, бывшем мне таким родным и знакомым и вдруг, хотя ничего не переменялось в нем и я нахожу сосны и елки стоящими на тех же местах, он совершенно неузнаваем, этот лес, тропинок не нахожу — бурелом какой-то. Я, оказывается, совершенно неправильно ощущал свое тело во времени и пространстве, и как странно обнаружить себя, стоящим, думал, здесь, а оказывается вон где. Я бы сам может и не заметил такого у себя с собой заблуждения, если бы не добрые люди, они указали и объяснили. Нет, не то, чтобы они мне это в лоб сказали. Просто на их лицах я вдруг читал, в их речах мимолетом проскальзывало, что и я не тот, за кого я

себя принимаю, и нахожусь я не в том месте, где мне кажется я стою, и мыслю я не то и не так, как мне представляется, время сейчас совсем другое, чем я себе рисую, скажем, мне кажется, что осеннее утро, а на самом деле уже зимняя ночь, мне кажется, что стою на углу Невского и Желябова, а на самом деле это угол Большого и Введенской и, что еще хуже, может, даже и не этот угол, а еще другой, и город другой, и партийный съезд только что закончился, не то VII, не то XXVII, а сам я зря навязываюсь совершенно незнакомым людям и выдаю себя за знакомого, никто обо мне не слышал, не знает и ничего я никогда не писал и ни в какой жизни не участвовал. И со мной разговаривают лишь из вежливости, чтобы не связываться с сумасшедшим. Так-то, дорогой друг, приятно ли вдруг узнать о себе такое?

Мне казалось, я всего лишь уехал на дачу в Т., где и живу тихо с женой и с ребенком, а оказывается, я вовсе исчез, перешел в другое существование, потерял способность к общению, полощусь где-то в антимире и еще пытаюсь в наш здоровый советский мир выглядывать. Что за любопытство! возмущаются внизу справедливо. Зачем выглядываешь? Ты умер, Сапожков, как прекрасно говорит герой рассказа моего любимого Вадика Федосеенко. Ты умер, Сапожков, говорит герой своему приятелю по детсаду. — Что ты разговариваешь, раз ты умер! Я не умер, отвечает Сапожков. Нет, ты умер, умер! И что ответишь на это, если никто тебя не поддержит? Можно и поверить. Тем более и сам се-

бя хоронил весь год. Но об этом же не знал никто. Как же это они пронюхали?..

Я снова ощущаю перемену интонации — и здесь уже не пахнет элегией. Здесь во мне бьется интонация лихая и несправедливая, уже живая, где мне дела нет до объективности и представления мира в том неумолимом равновесии, в коем он всегда находится, и потому повод для возмущения может тебе дать лишь твое же недоумство, с радостью перейдя в свое недоумство, я вставляю здесь кусок, который написал вчера и наспех суровыми нитками и грубыми стежками связал с предыдущим, полмесяца лежавшим без дела текстом сегодня. Я вставляю здесь этот привесок и обозначаю его как:

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПИСАТЕЛЮ Р. Г.
ИЗ ЛЕНИНГРАДА И ЧИТАТЕЛЮ
ВЛАДИМИРУ КРОХЕ ИЗ ТАГАНРОГА

19 сентября

Вообще-то все только тем и занимаются, что хоронят меня. Даже моя жена, даже М. Д. Не говоря о таких опытных похоронщиках, как Р. или Д., хотя эти-то двое очень разные гробовщики. Ну, Д.-то вообще весь понятен, что-нибудь в таком стиле, что Битов кончится, как только утихнет у него сексуальное расстройство, или что Битов зазнался и заелся и не сможет писать от ожирения, или что Битова задавит своим творчеством жена-писатель. Это все понятно у Д., который все причины с рвением первоклассника отыскивает в патологии и те три или четыре причин-

ки, по которым считает, что пишет сам, рассматривает распространяющимися на все человечество. Поэтому ему, конечно же, непонятно, как может писать человек, если он не низкого роста, не урод, и не еврей, и женщины его любят, как может писать человек, столь внешне не похожий на низенького уродца-жида, которого женщины не любят, то есть на него самого. Р. же хоронит по гораздо более многочисленным и запутанным причинам, хотя, надо сказать, хоронит с той же протестантской простотой, без кистей и глазета, в тесном необструганном еловом гробу, в котором уже не повернешься поудобнее, чтобы — мало того, что в гробу — еще и не занозиться. Скажем хотя бы так, что этот человек, несмотря на свой ум и талант, а, может, и по свойствам своего ума и таланта, органически не способен видеть самого себя и не способен к общению, вещи самой для него необходимой, непостоянен потому, и потому же никогда не сознается себе ни в одном своем естественном помысле, принявшем неблагоприятное выражение, и сознание непостоянства своего всегда отодвинет от себя, объяснив это вдруг открывшимся ему несовершенством объекта бывшей любви и нынешнего непостоянства. Я не знаю ни одного человека из числа бывших близкими ему, которого бы он не чернил в ту же минуту или, и это уже свидетельствует о действительно выдающихся качествах объекта, минутой спустя. Ну, да ладно, пусть хоронят. Тут я признаюсь в непрерывавшейся к ним обоим любви, тем более любви, что она выдержала знание того, что о тебе говорят не так, как тебе хотелось бы

и даже другие вещи, чем при личной встрече. Она, конечно, покачивалась, моя к ним любовь, но все же осталась и, если учесть, что как бы умен художник ни был, в одном случае никогда не будет он благожелателен и объективен, это в случае, если кто-либо неблагожелателен и необъективен к нему самому, то я действительно люблю их нежно. И Д. с его одесскими шуточками, и Р. с его разночинной подлостью.

Все меня хоронят, и мама, и папа. Мама потому, что я выхожу из-под ее влияния. Папа потому, что принципы моего существования как бы зачеркивают принципы его существования. И оба хоронят меня потому, что образ, который они предварительно создают или создавали обо мне и моей жизни, на практике не совпадает со мной, живущим в сегодняшнем дне. И с этим уже ничего не поделать и, как ни грустно, придется перейти в область менее близких и более формальных отношений, потому что ничто уже не поддается изменению из желаемого в действительное и даже, если потратить всю жизнь на то, чтобы заменить в их сознании существующий образ на меня действительного, это будет рождением новой свеженькой пытки, начнется несовпадение со мной завтрашним. Я люблю маму и папу.

Как хоронит меня жена? Этого даже приблизительно не выразить словом, настолько это еще невыявленное, живое и изменяющееся начало. Скажем так, пока это четче выражается при всяких взаимных неудовольствиях. Может, все было бы и не так, но это же надо — жена у меня писатель. Неудоволь-

ствия, иначе ссоры, имеющие самые бытовые подкладки (по истоку это всегда коммунально и социально — очереди там, теснота или отсутствие денег), в развитии своем имеют тенденцию к оскорблению. Это так же просто, как драка с битьем посуды и порчей мебели. Сначала на пол летят наиболее близко расположенные, наиболее прочные и наименее ценные предметы, то есть те, которые не испортятся от такого с ними обращения или их не жалко... Меня всегда поражал этот точно действующий, подсознательный расчет так называемого аффекта. Потом если в комнату, к примеру, не впорхнет птичка, освежая и рассеивая все своим радостным щебетаньем и не остановит внимание сторон на том, чем же они занимаются, когда за окном столько поводов для радости и ликования, если события продолжают развиваться, и аффект наливается силой, из младенца превращаясь в зрелого мужа, когда уже под рукой не находится подходящих предметов, потому что все, бывшие под рукой, уже под ногами и нагибаться за ними, чтобы снова их бросить, значит обращать серьезное дело в пародию, тогда наступает некая секунда растерянности, потому что надо найти предмет и желательно уже потяжелее. Бросить стоящую рядом хрустальную вазу все еще жалко, тем более, что это наверняка будет концом, поллюцией, разрядкой, в ход идет извращение, неспособность еще пожертвовать вазой заменяется еще большим желанием унижить и причинить боль партнеру, скажем так, бросить в него тарелкой с горячим супом, недорого, но эффективно, тем более суп немного уже остыл и обой-

дешься без ожогов, швырнуть в него кошкой, половой тряпкой, макаронами, сыром, мылом, мышеловкой с мышкой, грязными трусами, замоченным бельем, тем же самым Рабле, он большой и тяжелый, и написал бы целый том перечислений того, чем можно швыряться при ссоре. Роль всего вышеперечисленного легко исполняет для нас с женой вещь не бьющаяся и не ломающаяся, простая в употреблении, гигиеничная для быта и словно специально для того предназначенная и абсолютно ничего не стоящая — это наше писательство, вещь, которая — понимал бы Д. — вполне равносильна жидовству, уродству и низкому росту. Тут на ум приходит всякое — например, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Это же надо было так подло сказать и еще назвать народной мудростью! Это же так просто — оскорбление... Можно действовать по принципу наоборот — назвать тебя уродом, если ты хорош, серым, если ты интеллектуал, бездарью, если ты талантлив, стукачом, если ты кристален. Можно даже не трудиться и называть кошку кошкой: скажи еврею — жид, врачу — вр-рач, поэту — стишки пишешь, писателю — пи-и-са-атель. И поскольку мы оба можем сказать друг другу: пи-иса-атель и это уже неинтересно, мы черпаем в анализе творчества друг друга и в знании различий наших творческих индивидуальностей: реалист вонючий, ничего выдумать не можешь, — скажет мне жена; остряночка примитивная, правды никакой писать не умеешь, — могу сказать я. После этой артиллерии можно и мириться, то есть, сказать, ну, конечно, ты всех лучше пишешь, ты всех та-

лантливей, даже меня; ну, что ты, разве могу я идти с тобой в сравнение, должен ответить партнер. Умные, любящие люди — поговорили, и все в порядке. Тихий период. А как же быть с этим «у пьяного на языке», как освободиться потом от тихих, отгоняемых разумом вылазок этой недотыкомки: «Что у трезвого на уме?»

Так же по сути хоронят друг друга братья-писатели, с той разницей, что нет промеж них ни той любви, что между мужем и женой, ни необходимости жить в одной комнате после ссоры, ни этой одной комнаты, придающей ссорам формы столь конкретные.

Рассказывают также, что в Москве, в доме Герцена водится почтенный человек, с обязательной еврейской фамилией, организатор писательских похорон. Действительно дело и хлопотное и не всякому по плечу, и в любую минуту надо быть во всеоружии. Наверно, и в отпуск ему уже который год не уйти — не отпускают, боятся без него не справиться. А однажды, наверно, отпустили, уже он и чемодан собрал и пижаму уложил сверху и на вокзал отправился с билетом в кармане — бац, умер! и не кто-нибудь, а из самых-самых, догнали, вернули. Знаменитый человек, со всеми знаком, с каждым за руку и по имени отчеству. Посмотрит — словно мерку снимает. На глаз определяет с точностью до сантиметра. Там, наверно, свои размеры, у гробов, как у калош. С., скажут ему. С.? — скажет он, — это какой, у нас их три. Ах, К. — рост 4, полнота 3. Молодыми, говорят, он не интересуется, не ценит, не замечает. А они ведь растут, молодые... Наверно думает, до пенсии го-

дика два осталось, плодово-ягодный участок неподалеку, за кладбищем третья остановка, развел. А зря он молодых недооценивает. Вот и у Ш. инфаркт был, и у Г. — спазм, и у Е. — запой, и у В. — половое бессилие, а у А. — разжижение мозгов. Конечно, похороны у них какие! нет того торжества и почета, но все же... похороны.

Да, вот отвыкнешь от города, не повидаешь подолгу людей, с которыми стоишь, так сказать, в одном строю, одними помыслами живешь и одними чернилами пишешь — и глядишь, отстал, не в курсе. Ты там тихонько сидел и кропал и думал дело делаешь, а тебя тем временем отстали. Приедешь там в город за надобностью, оторвешься от трудов, спички там купить надо, соль, а тебе все только спины да жопы показывают и окликнешь — теряются и руку подают неохотно, сокрушенно так осуждающе посматривают: что же это ты, парень... мы тебя и похоронили по всем правилам, а ты живым прикидываешься. Ты же умер давно, кончился, тебя и нет теперь в нашем списке, другая нынче обойма, мы тебя вытолкнули, мы тебе спины уже показали, не дыши ты нам, пожалуйста, в затылок, все равно не догонишь. Впрочем, люди вежливые, виду, конечно, не покажут, что ты умер, самообладание у них, созерцание трупа не расстраивает их воображения или пищеварения, глазом не моргнут, пообвыклись, поволнуются еще в душе, долго ли ты их так держать за пуговицу будешь и расспрашивать, долго ли им еще с ненужными уже людьми разговаривать, им же бежать надо, они еще живые, но тоже ведь вежливые, не ска-

жут, лишь переминаются от нетерпения, переступают, да на женщин мимо идущих поглядывают, а как узнают, что ты всего за солью, да за спичками, а там назад — и вовсе успокоятся. Ну что ж, скажут про себя, покойник-то еще новичок в своем деле, подышать ему с непривычки захотелось, но дисциплинированный, знает, что в гроб вернуться надо, ничего, пообвыкнется, раз-другой еще вернется — и все, успокоится. И посмотрят на тебя так, что словно бы ты стал стеклянным, утвердятся в том, что тебя и нет больше, сунут руку как бы в пустоту и побегут дальше.

Я теперь в город не езжу. Я за солью и спичками теперь рядом хожу, в местный кладбищенский гастроном. Ничуть не хуже. Со всем то же самое. Что живые, что мертвые — кто разберет? Кто как себя считает. Хожу я в этот гастроном и удручаюсь. Что это, думаю, никак не накопить этих спичек и этой соли, так, чтобы и ходить не надо было. И что за прок — ходить? Что за радость в этом писательстве? Все одни затраты. Вот и спички по копейке, и соль — сразу семь за пачку. И друзья молчат, и издатели не чешутся. Копейка да копейка, да еще семь, да еще копейка... Уже гривенник. Так ведь это только образ — спички и соль — на самом деле, дешевка. А масло, а мясо? хлеб нынче тоже... Побриться — и то — на одном мыле да лезвиях разоришься, если еще помазки терять не будешь. Борода-то все растет и растет, сколько ее ни брей. Я бы ее сбрил зараз, всю ее длину на мой век положенную, но нет, получай ее день за днем, как по карточкам и седые волоски пересчитывай. Одних сапог сколько

сносишь, бумаги сколько переведешь, машинки тоже не бесплатные... А в награду — что? Тебя же нет, ты умер, какая награда!.. Ах, знали бы вы, все — одни расходы...

Вот и спать пора. Укладываться в свой отсыревший гробик. Полпервого. За окном тьма крошечная, и я в стекле отражаюсь и машинка моя отражается. Темный я какой-то в этом стекле, мрачный. Не люблю я себя. Хорошие рассказы пишет Генрих Шеф. Я уже не пишу, я же труп, что я могу. Жена за меня допишет. Я бы еще рисовать стал или петь, играть Баха на теткинском фортепиано, но не умею. Я вот ничего в темном своем стекле не вижу — электричество мешает. Погасить разве, да к темноте привыкнуть? А зачем? Я же все там, за окном, и так очень хорошо знаю. Тут ночами по Токсово хулиганы ходят. Меня небось очень хорошо из окна видно. Удобная мишень. Взять меня и пристрелить. Из профилактики. Чтоб оживать не вздумал. Не было бы так холодно, выбежал бы посмотреть, как меня с улицы хорошо видно. Но и это бессмысленно, потому что тогда меня за столом не будет, когда я на улицу выбегу, и я увижу пустую комнату. А может, так оно и есть на самом деле — комната-то пустая. Я сам бы пошел сейчас по Токсову с хулиганами, прислушиваясь к тому глухому и живому, что заворочалось бы при этом внутри: и какой сад залезть, какое стекло выбить?

А я вам говорю, не волнуйтесь вы из-за меня. Умер, так умер. Не воскресну. Не желаю. Мне и в гробу не дуется. И догонять я вас не хочу. А тем более дышать вам в затылок.

Я сам себе в затылок дышу и сам себе на пятки наступаю, сам за собой гонюсь, и сам от себя, то отстаю, то нагоняю. Вот ведь загадка какая. Что такое? Само по себе живет, само по себе бегаёт, ни на кого не плюёт и никого не преследует? А? Апролджсмитьбю, как писала М. Д. Это я как бы на рояле играю и как бы ногтем по всем клавишам провёл, тр-р-р-р-р-рель такую выдал.

Вот и все. Вот и спокойной вам ночи. Вот и выкушайте вы у меня то, что от меня откушали. А мне того и не надо, что от меня откусить можно. Я уже теперь гладенький стал и крепенький, никаких на мне удобных для откусывания отростков нынче нет. Укусишь — зубы соскальзывают и клацают. А я качусь себе дальше. Колобком. Кур у себя на даче разведу, рептилий нежных, пусть поют. Поросятки пусть хрюкают. Стрептококки пусть прыгают. Диплодоки пусть ползают. Бледные спирохеты пусть там и сям свисают и дополняют картину. Ну, и писатели, бог с ними, пусть уж пишут, пусть не спят, если им так нравится.

Бай-бай — как хорошо! Только ведь сон опять плохой приснится. Война опять. Даром, что ли, я пишу, а у меня окна от стрельбы недалеко трясутся, а по утрам прекрасные портяночные марши звучат в шелесте опадающих листьев. Или опять эти двое под локотки меня возьмут и скажут: пройдемте. Они у меня постоянные. Я их уже узнаю во сне. Даже недавно чай с ними пил. Они пришли — а я им чай. Выпили от неожиданности. Разоткровенничались. Тоже ведь хлеб им достался... Один все бледный такой, зеленый, на со-

литер все мне жаловался, и того ему нельзя и этого, солитер все не любит, даже чаю горячего нельзя, только остывшего. Я тещу утром спросил, она мне сказала — первое средство от этого дела ромашка с сушеными грибами спорами в водке разболтанная. Вот приснятся мне сегодня, я ему посоветую. Тоже ведь и повод выпить. Он с солитером пусть пьют со своими спорами, а мы с его другом в чистом виде употребим. Давно я ни с кем не пил, хоть с ними выпью. И жену в расходы не введу. Один пусть меня посторожит, а другой за водкой сбегает. Только уж ты, Р., не снись мне, пожалуйста. А то, что такое, приснился — и руки не подал. Я тебе говорю: за что? А ты мне: сам знаешь, за что. Что это за манера такая! — как хорошо сказал т-ский писатель Солженицын. — Не объяснять простому человеку, в чем дело. Ты не подал, а за тобой В. И. пыльным чубиком потрянул и сунул руки в карманы как можно глубже. И Д. тут же короткие свои лапки прячет. Мы, говорит он, вперед ушли, мы литературу мысли создаем, новая система координат у нас, информация-фуяция, а у тебя система координат старая, ты к нам не подмазывайся, ты все чувствешки да ощущениеца, ты мертвый уже, ты опять же нам в затылок не дыши, трое нас пока всего: я, да Б. И., да Р. еще. Уж если ты и приснишься, такое дело, лучше мы выпьем с тобой, ничего, что у тебя язва — во сне можно.

А может, и без снов посплю. Тоже ведь случится однажды, что и сны сниться перестанут. Вот ведь как. Как жить-то дальше, Р...? Ты, конечно, скажешь, как. Так и так.

А я это, оказывается, и сам знаю. Я вот раньше много всяких глупых воображений за собой фиксировал и писать о них любил. А теперь их нету у меня, воображений, стареть начал, седыми волосами да выпавшими зубами сначала похвалялся, молод был, а как почувствовал, что и не только зубы да волосы, то больше и не хвастаюсь. И вот из всех воображений одно еще осталось. Словно прошло лет десять-двадцать и вот иду я по незнакомой улице неизвестно какого городка и отечества. Сам седой, морщины такие мужественные на лице, платишко кое-какое несложное и узелок на палке через плечо. Иду я, а идти-то мне совершенно не к кому. Словно ни семьи у меня, ни друзей, ни знакомых и речи я той не знаю, на которой все тут разговаривают. И воспоминаний ни о чем нет. Словно и не было никогда ничего. А вот только и есть, что иду я такой по этой незнакомой улице. Куда все делось? И куда я иду?

И правда, как я представляю себе, что со мной будет? По-простому, по-житейски — как сложится моя жизнь? Представлю себе, что война и все погубило — это раз. Если не это, то, что меня забрали, и я в тюрьме, — это два. Если не это, то, что я умираю от тоски по родине в богатом особняке на берегу теплого моря, в славе и без всего, что люблю, — это три. Если не это... Что угодно я могу представить, только никогда не представляю одного, что вот так, как я живу, я буду продолжать жить пять, десять, тридцать лет... Это кажет-

ся мне невозможным, непосильным. Меня уже не поражает у великих, кто что написал, а поражает, как это Достоевский помер за шестьдесят, а Толстой за восемьдесят?! Как это они прожили столько!

А жить уже осталось так немного, пел сорокалетний Вертинский, и тоже помер за восемьдесят. А что — Вертинский, не бог весть что. Если гениям, которые себя обнаружили в этом мире, было выдано такое сумасшедшее здоровье, что они выживали всю жизнь, то за какие это и чьи грехи им такое мучение?

Ну и будя, будя. Какие ж, батенька, тигры, как сказал Лев Толстой, я вот сколько живу, еще ни одного тигра не встретил. Голос Толстого захотели записать на только появившийся фонограф. Попросили его сказать что-нибудь детям. Так и останется, думал устроитель, великий голос, обращающийся к детям, к потомкам. Что же сказал старый Лев? «Дети, — сказал он, — не шалите, ведите себя хорошо. Слушайте папу и маму. И главное, не шалите». И больше не захотел он записывать свой голос на этот фонограф. Ну что ж, будешь думать — додумаешься.

Уже которую страницу пишу, все кончить хочу, да так, чтобы вместе со страницей. И все что-нибудь начну, чего не собирался писать, и оно у меня на следующую страницу перелезает, где-нибудь в начале следующей страницы кончится. И опять тяни до конца страницы. И опять на следующую перелезает. Вот, читатель... Все. Не хочу больше.

20 сентября

Все-таки кончил я вчера не совсем правильно. Потому что, когда написал «Вот читатель», то это было началом такой фразы: Вот читатель В. К. из Таганрога пишет»,— но, написав первые два слова этой фразы, увидел, что это последняя строка, и я опять перелезаю на следующую страницу, испугался. Я передвинул каретку на слово назад и вставил запятую — получилось обращение, три точки в конце обращения для многозначительности поставил. И еще хватило места дописать: «Все. Не хочу больше». Получилось нормально.

Но потом я пошел спать, а у меня еще разгон был. Все продолжение мне в голову лезло, уснуть не давало, хорошие фразочки вспыхивали и гасли бесследно. Я, конечно, их не очень запомнил и такой дурной привычки вскакивать в подштанниках, отыскивать бумагу и карандаш и ловить эти фразочки-светлячки у меня теперь нет. Нет такого ощущения, что нечто бесценное теряется навсегда. Я не И. Е. Пусть теряется, думаю я, слава Богу. Но я, по-видимому, возбужден был, все обострено во мне было. Так я вдруг ощутил запах пыли. Острый такой, как бывает, когда ее на дороге первыми гвоздями дождя прибывает. Откуда, думаю? И сразу фразочка-светлячок: «И что это мне все пылью пахнет?» И за ней, неразделенные, сомкнутые, шевелятся другие фразочки, и одна уже делает шаг вперед, чтобы встать рядом с первой, и в остальных, я их еще не различаю, но угадываю некую готовность выявиться в определенной последовательности и образовать це-

лый связный отрывок, который начинался бы: «что-то мне все пылью пахнет?» Да ну вас, махнул я на них, спать пора. Вот ведь какой я щедрый, а был бы отрывок, может, не хуже, чем «Чуден Днепр»... Принюхиваюсь я, а пылью продолжает пахнуть. А тут в Токсово пыли и не бывает. Лежу я, а запах мне так в нос и бьет, несмотря на то, что у меня насморк и нос заложен. Что бы это, думаю? Начинаю щупать под носом, слышу легкий треск, и словно бы голубенькая искорка в крошечной тьме мелькнула. Воистину — светлячки... И вдруг понимаю: да это же я рубашку рядом с подушкой положил, чтобы утром не тянуться за ней по холоду, а сразу натянуть, сохраняя тепло (см. стр. о старике). Рубашка у меня такая теплая, современная, а материал — орлон, синтетика, так сказать. Вот он и электризуется, пока я рубашку весь день ношу. А снимаешь — разряжается. Отсюда и этот грозовой запах, и потрескивание, и даже искра. Я каждый раз, снимая ее на ночь, это потрескивание слышу, а вот запах впервые ощутил. Мне отец, у него такая же рубашка и он очень любит явления природы, говорил, что вот трещит, и искры, и запах озона. Что трещит, я знал, а про искры и озон не поверил, подумал, что это он из любви к курсу неживой природы преувеличивает, вспоминает Рихмана, убитого молнией. А оказалось — правда. Вот как обостряются все чувства и их органы в творческом акте!

Собственно, если все эти страницы своего рода «открытое письмо», то сначала оно как бы адресовывалось Р., а теперь уже является ответом таганрогскому моему читателю В. К.,

написавшему мне письмо. Он, видите ли, очень любит Ленинград, хотя ни разу в нем не был. И очень любит ленинградцев, с которыми он познакомился в альпинистском лагере. Кто в каком лагере знакомится — времена меняются... Теперь, пишет он, очень хочу познакомиться и с вами. То, что он очень хочет познакомиться, как-то объявлено в начале письма, когда он описывает, как читал мою книжонку: «Я лежал еще в постели, золотые квадраты лежали на полу, и окуривал вас фимиамом, как рецензент вашей книги». Читатель Владимир Кроха из Таганрога хочет со мной познакомиться и хочет, чтобы написал я ему, как я начал писать, что послужило того толчком, какие темы волнуют меня, как я пишу, о чем я думаю, когда пишу, и какие чувства вызывает во мне «работа над словом» (кавычки В. Крохи). Скуку, чаще всего, дорогой В., и некую тоску, что не могу, не в силах уже, став писателем, заставить себя пахать, грузить, бурить, что во всю свою жизнь, сменив несколько служб и написав то, что я написал, ни разу я не работал, за что долго считал себя подонком и уничижал, а теперь и не уничижаю. Не заставьте же вы меня, дорогой читатель В. К. из Таганрога, написать вам в ответ много больше, чем я написал за все время, что я пишу, и все-таки быть не уверенным, что рассказал и объяснил хоть что-то? И проще всего и, может, в этом будет не меньше правды, чем в целом томе, отослать вас к той трепотне на предыдущих страницах письма, то есть, как я хочу кончить писать так, чтобы кончилась и страница, и все перелезаю и перелезаю и ни-

чего с этим поделаться не могу. Вот так и пишу, вот такие чувства и испытываю. И еще дано мне тогда, погасив свет и ложась в полной темноте в отсыревший свой гробик, почувствовать, что рубашка моя пахнет грозой и той пылью, которую прибывают к дороге первые гвозди дождя. Страница кончилась наконец-то там, где я и собирался кончить.

4 октября (дом)

Пионерское начинается времячко! Молодею на глазах. Надо заняться делом: две пионерские организации хотят получить пионерские сочинения. В загадке спрашивается: при чем тут я? И оказывается, что это я же эти пионерские сочинения поставляю. Впрочем, туманить нечего, прятаться некуда: поставляю — так поставляю, не маленький,— понимаю, что делаю.

Если писатель пошире открывает глаза, он ловит себя на проституции. Поэтому он их не открывает. Жмурится советский писатель. Говорит жене, потупляясь, разглядывая носок: пойду, пройду, продышусь, невского ветерка хвачу... а сам шасть — в дом свиданий. Синие вывески, прошептаные коридоры, сквозняки из кабинета в кабинет, знакомые: с кем раскланяешься, кого не заметишь, а кого и смутишься. А вот и клиенты, редакторы по преимуществу. Встречают по-разному — и ты по-разному. Один любит тебя так, другой этак. Один бы и рад, да не может. Другой и может, да любит беленьких, а ты черненький. Один любит чистеньких, да моло-

деньких, да скромненьких, ты отведешь его в сторонку и в сторонке таким себя предложишь. А другого — в другую сторонку — он с перцем любит, чтобы и в рот и в ухо, повсякому ты умел, ему это нравится, постарайся ему таким показаться. Помучишься, конечно: один слишком за девушку тебя принимает, другой слишком за блядь, но делать нечего — профессия — скрепляешься. Встретишь писателя-товарку в коридоре, пожалуешься: ты знаешь, я повсякому готов, но уж этим способом — извините... что ему — мало, что ли?

Тяжелая профессия, что и говорить!.. Но ведь сам знаешь, шел на что. Все ведь не просто так. Вот и цыгане, как только родятся цыганами, так все и крутятся и мучаются, как бы прожить, не работая, и столько уходит энергии, чтобы по траектории этой проехать мимо труда, что любого труда оказывается потяжелее. Но цыган, может, и жалуется, но другой шкуры не захочет. Так и писатель, уж так ему невмоготу, а на все готов, чтобы только этой немоготы не лишиться.

И все жмурятся, и все как будто не продаются. Проститутка законно обижается, если так ее назвать. Под утро рассказывают писатели в постели: ты думаешь, я всегда такая была... роман у меня был, не читал? Жених у меня был, талантом звали, завел меня в дом один, хочешь, к друзьям пойдем? Завел в редакцию и там бросил, по рукам пошла, лишил меня, напечатал и бросил, пусть другие, сказал, теперь тобой пользуются, пусть печатают. Грустная история, что говорить... Но слишком уж их много, уж и слезы не вы-

жмешь. Оставишь на столике три рубля, на прилавке тридцать копеек, что ж поделать, товар обратно не принимается — поставишь на полку. Девочка ужаснется, глядя на проститутку, обрадуется своей чистоте, а проститутка скажет: дурочка, и я такая была. Да никогда ты такая не была! — возмутится девочка-максималочка. — Не может быть! И та права и эта.

Профессионал есть профессионал, он этим гордится. В писательстве наоборот. Представьте себе огромный публичный дом, широкая нога, комбинат, производственный уровень — и дорожки на лестницах, и лифт, и низкая светлая мебель, и белые телефоны, и производственный отдел есть и отдел доставки, и не без первого отдела — и люди ходят и в кабинет уединяются, и все пришли за одним, и все, представьте себе, делают вид, что пришли не за этим. Казалось бы, смешно и глупо, но попробуйте в жесте отчаяния, в агонии невинности, выкрикните, зачем пришли — линчуют. Если открыть глаза, картина получится фантастическая: все делают свое дело и открыто и не стесняясь, и в коридорчике, и на подоконничке, и на батарее, и сидя, и стоя, и вдвоем, и втроем, и в одиночку — содом! — и все словно бы не видят, не замечают, отрицают, отказываются, никто ничего не сознает. Подумаешь — с ума сходишь, как вдруг поразишься: да ведь это же гениальная система! И действительно, будь ты семи пядей, что ты выдумаешь против данности? А если ты видишь данность, то и действовать, волей неволей, приходится сообразно. А требуется иначе. Как тут быть? Все спасет декларация.

Однажды кто-то понял, что против данности, которая, только увидь ее, все опрокинет, есть всего одно средство — объявить, что ее нет, этой данности. Нету, тю-тю. Вот два козла, редактор и критик, занимаются прямо на лестнице содомским грехом. — Безобразие, свинство, как вы смеете! — А мы тю-тю. — И начинается, как в турецко-бушменском разговорнике: — Что это? — Это публичный дом. — Это публичный дом? — Нет, это Большая Советская Медведица, а дом — тю-тю. — Это кто? Это курьер? — Нет, это главный редактор. А кто это его так распекает? — А это тю-тю из первого отдела. — Можно к вам? — Нет, нельзя. — Но вы же свободны? — А меня нет, я тю-тю. — Вы тю-тю? Но вот же вы, я вас вижу, я держу вас за лацкан! — Это не лацкан. — Как не лацкан? — Да вы что, русской речи не понимаете, я же сказал, что я тю-тю!!! И словно туман падает и покрывает все, есть или нету? скажите, пожалуйста, черное — это ведь белое? Вы меня правильно поняли — вы не поняли ни черта. На все падает охлаждающий грамматический туман: не то настоящее в прошедшем, не то давно прошедшее в будущем. И таинство лондонских туманов роднится с таинством английской речи: паст перфект ин зе фьюче энд фьюче перфект ин зе паст. И вдруг спадает пелена, вдруг становится легко, словно незримая многоопытная рука Филатова отрезала тебе бельмо, и ты бежишь по коридору со всеми вприпрыжку, зажав радостный крик в зубах: я тоже тю-тю! я тоже...

0 ч. 00 м.

Пора признаться себе: есть один дом, в который все мы вхожи. Ханжество — еще совсем недавно — не было русской чертой. Это оставалось за миром более свободным. И это же надо — окончательно потерять второе, чтобы вдобавок получить первое! Есть такой дом! — возвещаю я это не бог весть какое открытие. Но в грудь себя не бью. Есть такой дом, в него ходят всегда за одним и никогда не признаются себе в этом. Достаточно придти туда пятого или двадцатого, в день распределения материальных благ, а еще лучше — оказаться, если тебе прифартило, в той очереди к окошку, из которого выкидывают кости, — Господи! если у вас только нос не окончательно заложен от ленинградских туманов, какой же вы ощутите запах!! Как вкусно пахнет печатный лист, в переводе на печатные знаки, комбижиром и чесночными котлетами... Ах, черт, начинаю забывать этот запах, а до чего же хочется... А ведь гора не идет к Магомету. Все не идет.

Есть дом, в котором мы все сходимся. Мы в нем равны, как в бане. Кто еще стыдится, прикрывается шаечкой... А кто, как забрался на верхнюю полочку, так и не слезает. Поддай, плесни еще, пару, пару! Ходят старые истрепанные годами клячи, иные красятся, а иные не красятся уже. Ходят и ненавидят молодых. И молодые ходят, корчат из себя целок. Ходят к тем, кто их любит. Есть такие, любят ломать. Ишь, выпендриваются, шипят клячи в спины молодым, все равно сломают вам... Взглянуть лишь чуть

побеспощадней, чуть помаксимальней — и как ясно, что тут все равны, один помет, что, раз сюда попав... что этого вполне достаточно. Но нет, какая спесь, какое расслоение! Тот генерал, а этот штрафник. Да нет же, все мы голые!.. И на шайках нет знаков отличия. Но нет, каждая шайка особнячком, у каждой, как бы низко ни находилась шайка в глазах остальных шаек, есть свои корифеи и свои подонки, и каждый играет в благородство, в служение, и все возмущаются вещами обратными: подлостью и услужением, — основным своим делом: накрылся шайкой — и тю-тю! И как легенда, и, только принюхайся — поймешь ее вкус и глубокий смысл, бродят разговоры о двух inferнальных кастах, это божества, их и не видел никто, только имена выскакивают, как имена апостолов, это воплощение мечты, ее два полюса, тень без света и свет без тени: Кочетов и Солженицын, и Эренбург — потолочник — между ними. Я трулюб, я отгоняю, это мираж, бред, так нельзя... но как мне мерещится временами, что это одно и то же. Конечно, это лестно для времени, это приятно — укутываться в плед романтики: черное и белое, ад и рай, добро и зло, — как мило видеть двоичный мир четко разделенным, с таким резким разграничением света и тени, как будто мы в безвоздушном пространстве, как лестно мерить нашу действительность по бесам Достоевского, а передо мной все кривляется мелкий бес Сологуба, все чиркает подметками по обоям, еще несколько измельчавший, распылившийся, растекшийся по миру, уже в окончательном усреднении и полном энергетическом равновесии...

Ходят мальчики и девочки, и еще не знают, чем они торгуют; ходят демонические юноши, уже почувствовав свой горелый запах, давно решившие: бежать, бежать! — и все не бегут; ходят упитанные циники, машины, которым все равно; ходят либералы, держат в руке нежный прутик и все отмахиваются, отмахиваются, и все им кажется, как отмахнутся очередной раз, что зацветает их прутик: теория пятаков, теория малых дел, теория профессионализма, теория мыльных пузырей, — и обнимаются они с советской диалектикой: лучше меньше, да лучше, период легальный и период нелегальный, — все-то они носители, все-то они охоронятели, словно люди, не знающие спичек, словно жрецы, хранители огня, носят в корзинке, в полевой сумке, носят в портфелях Камю и Кафку, и все не поджигают, и опять лезут целоваться с классиками революции: момент не созрел, количество переходит в качество, — вот и копят, вот и потребляют, все и жиреют — а качества нет как нет. И не будет. И не надо! — как говорит Г. Г. и все жмурятся, и все как будто не продаются.

Порядочная женщина спит десять раз с одним мужчиной, а непорядочная — по разу с десятью — так говорит Лакснесс. У нас же, диву даешься, все строится на таких тонких отличиях, что большая тренировка нужна различать их. Например, ты спишь с двадцатью, а я всего с пятнадцатью, я — порядочная, а ты — нет. Есть порядочный слой и есть непорядочные слои. Но в каждом непорядочном слое есть свои порядочные и непорядочные, свои прогрессивные и свои реакционные.

Вот оно, зажавшееся количество! Есть порядочный человек для общения, есть порядочный человек для потребления, есть порядочный редактор, есть порядочный член правления, есть порядочный парторг и есть порядочный стукач, и есть порядочный сукин сын. Мы пользуем их, попадая на дню из слоя в слой. И мы собираемся на своем Олимпе, пьем чай и беседуем с олимпийцами, уверенные в том, что на Олимпе нет магнитофона или микрофона, нет прямой связи с другим олимпом, и два олимпа стоят, взявшись за руки, и перемигиваются через улицу. Мы снова выделяем себя в эталон честности и порядочности за этим чаепитием.

А в доме том запотели окна, и стоит над ним пар — это видно со стороны. И если есть люди, что обходят его стороной, то мы их не знаем.

И я сажусь завтра за пионерскую работу. Я садился и сегодня, но вот написал другое. Садился и вчера. Начинаются обычные уроки на дом. Их делать не хочется. Слоняешься между книжкой «Это было под Ровно» и пишущей машинкой и хочется пойти по бабам. И что же? Свободу, маразм и духовный рост одному дорогому товарищу придется отложить на месяц. В течение месяца надо все это заместить и за отсутствием противопоставить. Надо самодисциплинировать, надо взять себя в руки, надо заняться физкультурой, вегетарианством, воздержанием, нравственной гигиеной, изучением иностранных языков, постом, изнурением в труде, чтобы помочь себе справиться с этим и ничего не заметить.

5 октября (Юбилей)

Начиная с рубашки, которая однажды запахла грозой, у меня словно бы желание появилось записывать немножко на следующий день по поводу того, что писал накануне. Вроде как утренние размышления на вечерние темы. Сегодня мне удалось хорошо открыть глаза, как давно не бывало, как открываешь их в детстве. Я спал крепко, а открыл глаза сразу, не ощущая в них неудобства, ни того похмелья, что отягощает утро неврастеника. Я обнаружил, что еще нет восьми и спал всего шесть часов, даже меньше, но и досыпать не хотелось. Я обнаружил в своем мозгу некий простор, и ясность, потому что четко вспомнил ощущения и впечатления, посетившие меня, когда я бросил писать и стал укладываться спать и перед тем, как уснул. Я ничего, понятно, не видел и не слышал, когда писал, хихикал над удачными словечками. Особенно, помню, хихикал над фразой: «Ходят молодые и корчат из себя целку». То ли от того, что я над ней перешихикал, она мне сегодня почти ничего не говорит, эта фраза. Остальных я не помню. А вот, как встал из-за стола и что за этим последовало, я запомнил очень хорошо. Не силился, не перешептывал на сон грядущий, чтобы утром вспомнить, не записывал условными значками, чтобы расшифровывать, морща лоб, утром, а вот, лишь открыл глаза, ясное, промытое, встало передо мной вчерашнее мое ощущение, и необыкновенное удовлетворение почувствовал я от этого. И эта утренняя чистая память поразила меня еще больше, чем то, что так

легко сегодня отворил свои глаза, и еще больше утвердило и усилило ощущение, что утро сегодня особое, когда-то бывшее со мной, но, увы, давно забытое: вроде, пятилетний засыпает с мыслью, что завтра праздник, новый год или день рождения, и как-то особенно остро чувствует и темноту комнаты, и прикосновение простынь, и вкус подушки, всю свою кожу, еще такую ясную в каждой своей клеточке... и вдруг распахивает глаза, как распахивают решительным жестом окна, чтобы впустить свежий воздух, с охотой, поспешностью, каким-то сильным внутренним движением открывает он глаза — и видит утро в своей комнате и белое окно и сразу понимает: праздник!

Я встал вчера из-за машинки, и опять ничего не увидел в ночном стекле, кроме слепого своего отражения, с усиленными тенями, с провалившимися щеками и глазами, мертво глядевшего на меня. Я расслышал тогда тишину и потом в ней звуки: за окном уже давно шел дождь. Он именно — шел, он ходил под моими окнами, он чавкал, вынимая медленные ноги из раскисшей земли, он скребся и сморкался. И я, с тем смешанным чувством детского страха, теперь, впрочем, легкого и ослабленного, и той уже взрослой усмешки над собой, рождающейся из боязни показаться наивным ли, смешным или глуповатым даже перед самим собой, не сразу поверил, что это дождь, а не кто-то ходит у меня под окнами, и он меня видит, а я его нет... и уже совсем с замиранием, выключил свет и сначала ничего не видел, и замирал еще больше, а потом разглядел кленовую ветку,

припавшую к моему окну, потом начало дорожки, удаляющейся от моего окна, и даже небо обнаружил не ночным, а беловатым. Я располагал звуки в законном пространстве так, чтобы они стали конкретны и понятны, например, звук воды, льющейся с крыши в бочку: это он скребся в дверь, потому что бочка стояла у крыльца. Чавканья я так и не понял, но из привычки отрицать сверхъестественное в быту, из привычки убеждать себя, что живешь в мире причинных связей, которые так просты и не таинственны, если известны, я объяснил себе так, что это только я не могу понять, в чем дело, а на самом деле все происходит, может, от того, что чавкает воздух, который выжимает из земли вода или что-нибудь в этом роде. Во всяком случае, сказал я себе, это дождь и ни что другое, что еще раз подтвердило мою в этом неуверенность. И больше всего успокаивало меня все-таки то, что небо было беловатое. И я уснул, как живой человек, ни разу не зафиксировав, не формулируя своего ощущения, так что не этим объясняется, что я запомнил его и, проснувшись, пережил снова.

Я вышел затем на крыльцо, чтобы облегчиться. Утро показалось мне удивительно теплым, может, от того, что я слишком уж ожидал ледяного холода. Иначе это трудно объяснить, потому что не может быть тепло человеку, только что проснувшемуся и вылезшему из теплой постели в одних трусах на сырое крыльцо ранним октябрьским утром на шестидесятой параллели. Утро, беловато-сероватое, вылезало из кустов и травы клочьями тумана, казалось кусты освобожденно дыша-

ли, и пар, может от этого, ощущался не промозглым, а теплым, как дыхание. Пар подбирался мягкими, тающими языками к крыльцу и обессиленный, словно бы клал свою теплую собачью пасть на нижнюю ступеньку. Ощущение утра вдруг слилось, поражая меня непонятной общностью, с моим вечерним ощущением, так ясно воскресшим сегодня, и я, не желая и не пытаясь, словно мне это казалось ненужным и лишним, разобраться, в чем же эта общность, лишь принимал ее, воспринимал, и это делало меня еще счастливее. Счастливее, конечно, меня делало и другое — мое медленное облегчение. Я смотрел, как моя струйка падала с высоты крыльца на землю, выбивала в ней лунку, и над этой лункой тоже поднимался пар. Восторженно передернув плечами, я бросился назад, в дом, в тепло, нырнул под одеяло, и с наслаждением оттаивал под ним.

Я обнаружил тот, скребущийся звук, который так усиливается по ночам, когда за обоями оживают мышцы. По утрам они обычно молчат. Преследуя этот звук, я вывел его источник из-за стен на улицу. Там, над моим окошком, я увидел птичку. У нее там, по-видимому, гнездо. Она шастала взад и вперед. Я никак не мог толком разглядеть ее из своей постели, мешал карниз, за которым она скрывалась, а подлетала и вылетала она слишком стремительно. Я подумал, что это ласточка, но не был уверен, что они еще бывают здесь в октябре, ведь это, кажется, перелетные птицы. Эта птичка тоже обрадовала меня. Вот, подумал я, не только мышцы, но и птички...

А если говорить о празднике, то мне мере-

щится, если я правильно помню, что сегодня исполняется пять лет с тех пор, как я пишу прозу. В этот день я написал свой первый рассказ «Люди, побрившиеся в субботу». Я очень удивлен, почему вдруг сегодня моя голова вернула мне эту дату. Я их не помню, как правило, дат. Хотя с детства старался их запомнить, словно бы в наивной уверенности, что от этого не умрет в памяти событие, сегодня меня столь волнующее, потому что я имел еще слишком малый опыт, чтобы проследить, как обходится память с нашей жизнью и как воскрешение бывших с нами и дорогих нам событий происходит помимо наших сознательных усилий воскресить их и, может, несмотря на эти усилия. Я старался запомнить многие числа моей жизни: дни знакомств с любимыми, и дни, когда я впервые владел ими, дни моих свершений и побед, я твердил эти числа и записывал их на многочисленные бумажки. Сначала пропадали бумажки, а потом число переставало говорить мне хоть что-либо, и я терял число. И теперь я мучительно вспоминаю года и устанавливаю в памяти дату \pm год. А ведь я еще недавно ушел по дорогам памяти. Эту дату, 5 октября 1958 года, я очень лелеял вначале, ведь это, как мне казалось, спасло меня, то, что я начал писать, ведь это сделало мое существование осмысленным и т. д. Дату-то я вспомнил сегодня вовремя — зафиксировал эти пять лет, которые еще так недавно казались мне столь далекими, и желание их отметить исходило из того понятного нетерпения перед течением жизни и от той любви к круглым цифрам, которые, как бы это ни

было условно, создают в нашей психике иллюзию нормированной этапности нашей жизни. Так, читая слишком толстую книгу, как бы ни нравилась мне она, я подсчитываю время от времени, сколько же мне осталось еще читать, и определяю отношение уже прочитанного к еще не прочитанному, так мой отец всегда желает отметить круглую цифру на спидометре своей машины, так нам хочется отмечать, сколько времени мы заняты тем или иным делом. Но даже если нас еще может взволновать та или иная дата (а, может, тем более, если она нас может взволновать), мы, как правило, пропускаем ее, забываем, как отец, следя за дорогой, каждый раз пропускает тот момент, когда на его спидометре сразу много девяток заменяется многими нулями. И мне кажется, что мой сегодняшний юбилей оставил бы меня равнодушным, если бы мне не повезло нынче утром, так легко отворить свои глаза. Да и все равно он оставляет меня равнодушным, не имея ничего общего и не сливаясь с радостным открытием сегодняшнего молочного утра.

И вот, как я ни оговаривал свой юбилей, я по-своему отпраздновал его, написав эти страницы. Я словно бы кончил писать и побежал за молоком, которое давно обещал принести. Выбегая с бидоном из нашего сада на улицу, я вдруг обнаружил, что, может, больше всего во мне самом пугает меня возникновение рефлексов. Если раньше я, пытаясь подражать взрослым, радовался возникновению в себе навыков, привычек, умений, то теперь как бы боюсь их, потому что, сам перейдя в другое, взрослое, качество, обнару-

жил в рефлексе качество обратное радовавшему меня в детстве, тенденцию духовной старости и смерти. Вот, что заметил я за собой, выбегая...

Когда идет дождь, калитка наша разбухает и расклинивается в своем проеме так, что открыть ее можно лишь сильным толчком. И с той и с другой стороны забора, у калитки, растут деревья, и, после дождя, на каждом листе скопляется большая капля воды, и когда я, пытаюсь распахнуть калитку, с силой пихаю ее, я трясусь забор, а с ним деревья, и тогда на меня выливается холодный душ, состоящий из капли на одном листе, помноженной на количество листьев. В этом есть своя эстетика, но, в общем, это неприятно, тем более, что многое попадает за шиворот. Я всегда забываю о том, что, толкнув калитку, окажусь под внезапным дождем, и сегодня я тоже не помнил об этом, когда совершил целую серию внезапных для себя движений и прыжков, имевших тот смысл, чтобы и калитку отворить и под дождь не попасть. Я проделал это успешно: дождь прошуршал мимо,—но, проскочив, поймал себя на том, что во мне, независимо от моих сознательных усилий, возник свеженький рефлекс, и что бы это все значило... Это событие сразу стало в ряд с историей П. про старика с чайником и с тем, как я обнаружил, что кладу на ночь рубашку рядом с собой, чтобы не тянуться за ней поутру, когда комната выстуживается за ночь почти до уличной температуры. Еще я вспомнил, что изображение засыпания сознания, замены сознания рефлексом, жизнь интеллигента без интеллекта, столь, как мне

кажется, для нашего времени характерная,— все это уже давно преследует меня как тема, что видно и в «Пенелопе», и в «Саде», и в «Жизни в ветреную погоду».

Я посмотрел тогда еще раз на всю эту милую моему сердцу осеннюю погоду, окружившую меня на моем пути за молоком, в белое близкое небо, на расквашенную расслабленную дорогу, на желтые листочки, слетающие к моим шагам и как бы обозначающие мои следы, мой путь, и мне стало жалко себя.

11 октября

Снова я в Токсове. Третий день. Отмякаю. Снова — записки. В той небывалой сытости, что овладевает мной здесь, пишутся самые взволнованные страницы: муть оседает в осадок. Жизнь в Токсове не приносит новизны — в этом счастье. Вернее, все знакомо, все не в первый, даже не во второй раз — и поэтому вся новизна — твоя, вся — в тебе, в чистом виде. Передо мной вид, описанный в Записках, я сейчас пойду за молоком и писать ничегошеньки не хочу. Вчера понаехали родственники — все было, как описано в «Дачной местности». Один сосед построил дом, а у другого дом сгорел, у Федоровых родился пятый ребенок, а Глафира Борисовна померла — и ничего не изменилось. Все осмотрено, исхожено, описано — и уже незаметно моему глазу. Любовь кончается — начинается жалость и благодарность ко всему, что меня здесь окружило.

Вышел я с Аней копать песочек. Стою,

смотрю: за забором ветки, уже не зеленые, сквозь эту штриховку вижу косую антенну над нашей крышей, а за антенной солнце, подернутое, как сквозь марлю, оттого расплывчатое, широкое и совершенно золотое. Красиво это и ничегошеньки абсолютно не значит. Прямо кадр из какой-нибудь нашей талантливой киноработы молодого режиссера. Красиво, тонко и ни к чему. Очень современно, правда. Вдруг сзади музыка заиграла, из открытого окошка, а мне плакать захотелось. Вот стою я с открытым ртом, и музыка играет, смотрю на антенну с солнцем, и смысла от этого ни на грамм не прибавилось. Человек на велосипеде проехал и тоже не прибавил смысла. Все красиво, удивительно и ни к чему — никакого подтекста, идеи в этом нет — просто так получается. Мне казалось, что молодой режиссер кадры свои отыскивает, подтасовывает и нет их на самом деле, одно лишь его желание быть в искусстве. И вот стою и вижу: есть и такой кадр в этой жизни, и музыка такая же играет. Все есть в нашей жизни, что ни наври. Я вот думал, думал, как быть с человеком, куда его поместить и как скоординировать. То так оказывалось правильно, то наоборот. И вдруг понял, что ни скажи о человеке — все будет верно. Потому что все, что есть, — это человек. Вот выйдешь из кинотеатра, все там неправда было — одни попытки, талантливые или нет, выйдешь: а тут двор, поленницы, люди — толпою, это кино смотревшие, разные, а одно кино смотрели, плакали, пройдешь подворотню, выйдешь на улицу — все то же, что и в кино. Думал в зале, морщился: это они от бездарности, — а вы-

шел из зала: и оказывается, что и жизнь такая, только ты ее в кино побоялся признать за свою, такая уж бедная. И может, фильм-то — просто замечательный.

Вчера папа мой приезжал. Наш сюжет. Не выдержал одного дня без внучки. Глядя на него, начинаешь понимать затертое выражение: жизнь его заключалась в том-то. Действительно, он и жить будет и не помрет, пока есть внучка. И та его сумасшедшая любовь к ней, видно, и означает, как мало у него уже оставалось жизни, если любви этой, как основной цели, пришлось принять формы столь гиперболические. Отец мой может вообразить опасность там, где ее невозможно вообразить. Живость его фантазии в этом смысле необычайна. Он приехал, чтобы построить заборчик к нашей речке, чтобы не свалилась туда внучка. Он ходил и, не обращая внимания на насмешливые взгляды родственников, съехавшихся на очередной воскресник по обработке участка (вообще-то он очень обращает внимание, даже слишком на то, как смотрят другие, но тут его страхи были сильнее), он ходил и подстригал веточки, чтобы они не попали внучке в глаз. Этот уже абстракционизм чувства поразил меня. Вот сюжет материалиста: мир враждебен ему. Можно выколоть глаз, можно свалиться в речку, можно прищемить в двери пальцы — но жить, постоянно представляя себе это и борясь с этими еще не состоявшимися представлениями, кажется мне уже таким отрывом от жизни, что именно материалисты — совершенно не реалисты в нашей жизни. И борьба с ветряными мельницами кажется мне, в этом

смысле, символом судьбы материалиста. А Дон Кихот — основоположником (как всякий основоположник, наиболее искренней и чистый от своих последователей) нового мировоззрения.

Вот я и снова хожу за молоком. Смеркается. Голые ветки в сумерках, словно что-то с ними случилось, и они сами не знают, что. Дорога начинает таять впереди и сливаться, а где-то на горе костер красной точкой и в застывшем воздухе запах горелых листьев... Я иду и посасываю молоко из чайника на ходу. Мы решили ужинать теперь молоком. Для здоровья. На всю жизнь смешные эти попытки к здоровью и порядку. Раньше меня мучило, что никогда-то их не выдержать в последовательности. А теперь понятно, что так и необходимо: регуляция. Из этих колебаний разгула и режима и выведется средняя линия моей жизни, близкая к норме, площадь моей жизни, как площадь трапеции: полусумма оснований — на высоту. Это-то все просто: сэкономить на завтраке, на такси не поедешь, а на метро, заменишь сливочное масло подсолнечным, а вечером выпьешь бутылку водки, и она поглотит выгаданные копейки в море своих копеек. Мы решили ужинать молоком за счет масла. Я пил молоко по дороге тайком из носика чайника. Я пришел домой налить его в свой законный стакан, а в стакане — сопля, и я продолжаю пить из носика.

27 октября 1963 (Молитва)

Я писал о том жестоком, смертельном моменте, когда обольщения и утилитарные идеи

вдруг начинают слетать как шелуха, когда мир открывается тебе в своем извечном и неумолимом равновесии, когда всякое дело оказывается тебе бессмысленным и ненужным, относительность и преходящность идеи леденят сердце, опадают руки, как листья, и ты стоишь голый на осеннем ветру, пытаешься удержать последний свой жухлый лист, и умираешь в этот момент умудрения: последний лист слетит — и тебя нет больше. Много лет спасаешь себя надеждой на будущую весну, пока, однажды, не сможешь спрятаться от мысли, что за весной обязательно приходит осень — и тогда отчаяние, и тогда уже не надежда на будущую весну, которая, как ты уже знаешь, ничем не отличится от прочих и не утвердится навек, а лишь надежда на надежду слабо утешает тебя, т. е. ты еще надеешься, что умудренность твоя пройдет, воскреснет глупость, жизнь, и ты еще раз, несмотря на весь опыт, поверишь в ту же самую весну. Еще и так проживешь некоторое недолгое время с надеждой на надежду, потом поймешь и этот автообман, и не сможешь даже притягивая к себе обман, желая поверить в него, убедить себя в том, что еще раз способен в него поверить. Ну ладно, когда тебе станет ясна и относительность относительности, что же останется тогда? Тогда окончательная мудрость, смерть, небытие? Какая поляна открывается за этим очередным и, кажется, последним холмиком на твоем пути? Что будет, когда ты уже не сможешь в очередной раз отбежать назад, чтобы снова пройти тот же отрезок и опять же не дойти до вершины, опасаясь, что там пропасть, небытие и, только

ступишь на вершину, даже со всех сторон — пропасть? Что же последует за окончательно понятой системой вещей? и все еще боязно сделать последний шаг, все еще хочется выгадать, все еще думается, а неужели никак не узнать предварительно, перед тем, как сделать этот последний шаг, что же за этим, закрывающим тебе взгляд, холмиком, а узнав, может, и не делать шага... Это страшно и никто тебе не подскажет: провалишься ты или полетишь? И действительно, кто подскажет тебе: некому. Они либо провалились, либо летают и не может быть сообщения между вами. Надо решиться, надо заносить ногу и ставить ее на вершину. Что же за поляна, что за простор, что за таинственный пейзаж откроется перед тобой, если откроется?

Кто-то сказал, что все великое рождалось при размышлении о смерти. Что же такое размышление, как не приближение того, о чем думаешь? Это все произойдет с тобой сегодня, завтра, сию секунду. И в этом — ты, в этом — Бог. Бога обретаешь, когда теряешь его. До поры я мог не думать о нем: он был во мне. Я и не подозревал об этом. Его убила жизнь, его убило общение. Нет, не то, чтобы варвары-люди напали на невинную душу и растоптали ее, и они не хотели этого, этого и не было. Просто много их попадалось на пути и появился взгляд на себя, а не в себя, и сравнение с ними, а не связь. Соревнование, желание формального равенства, разобщение. И пропал твой Бог, которого ты не замечал. И такая возникла пустыня и смерть, что осталась лишь слабость, при которой общение — счеты, любовь — похоть, дружба — желание

утвердить себя, творчество — потуги и даже застрелить-то себя — можно разве из пальца.

В последний раз я сказал себе сегодня, и это было уже по-новому: пусть поперехнется тот, кто судит меня. После этого впервые сегодня я молился. Это было в метро, в новом храме. Я сказал: Господи, помоги мне. Я говорил это и раньше, но это было вроде «черт возьми». Я сказал это по-настоящему. И вдруг мне стало легче. Раньше это называлось: Бог услышал меня. Я сам услышал себя, и меня не стало. Я вдруг почувствовал, что могу услышать соседа.

Когда меня вез вниз эскалатор, я ощущал такую смерть! Она была физическая, от пупа до сердца все было заполнено ею, клетки, сосудики. Подходил поезд, раздвигал двери, и я почти бесчувственно поражался, что еще делаю шаг и прохожу в вагон. Я думал: это так, стесненьце, и пройдет, но не проходило. В этом чувстве была уже не приблизительность, не только похожесть, а конкретность, непреходящесть. И такое было ощущение, что если смерть и пройдет, то не потому и не так, как проходит болезнь, и не так, как забываются чувства, а лишь в случае чуда, если поможет то, о чем я еще и представления не имел. И я сказал: помоги, Господи.

Теперь можно жить. Можно, оказывается, жить так, что любовь твоя будет любовью, творчество — творчеством. И ничего не изменится в твоей жизни, кроме смысла каждого шага и поступка. Так же это будет похоже на обычнейшую жизнь и на обычнейшую слабость и на обыкновенный грех. Я словно бы

могу сейчас проделать то же самое, что было раньше слабостью и падением, но это не будет ни тем, ни другим и произойдет от любви. Больше не может быть обид и счетов и суда, мерзкого стыда за ближнего и за себя лишь оттого, что рядом люди. Измерения другие.

И тот путь, при котором осознание оказывается успокоением и лишь символом нового, а на самом деле внутренним разрешением всех тех же постыдных вещей себе самому, безболезненным закрыванием глаз, как бы назвал кошку кошкой, и она от этого перестала ею быть, такого уже тоже не может быть — это не спасение, это как бы спасательство. Спасение — это берег, спасательство — поплавок в том же болоте. Достаточно людей, единицы, но — достаточно, что понимают все и по-прежнему сохраняют в себе непонимание ничего. Бога в них нет, хоть и твердят они о Нем. Даже больше, мучительная цепь поступков им кажется приводит их к Нему, но всегда остается последний пяточок, на котором устоят они, чтобы все-таки не отрешиться от себя. Это знание, почти знание, оказывается еще большей ересью, потому что возвеличивает их в собственных глазах, потому что они все еще сравнивают и измеряют рулеткой каждый свой шаг и на сколько сантиметров оставили они соседа, и им не расстаться никак с этой сладостью. А если покинешь пяточок, знание уже действительно поднимает тебя, а не кого-нибудь другого, это становится реальностью, а не миражом соизмерений с ближними, не автовозвышением, а объективной мерой.

АНАТОЛИЙ БЕРГЕР

Семь из девяти предлагаемых читателю стихов были инкриминированы мне в 1969 г. За них я был осужден по статье 70-й части I УК РСФСР к 4 годам строгого режима и 2 годам ссылки. Мордовские лагеря, Красноярский край — вот награда за эти стихи. Сегодня, 20 лет спустя, пришло их время.

1989

Монолог декабриста

Отчизны милой Божья суть,
Я за тебя один ответчик,
Легко ли мне себя распнуть
Той, царской площадной картечью?

Легко ли на помосте том
С петлею скользкою на шее
Ловить предсмертный воздух ртом,
От безысходности шалея?

Легко ль в сибирских тех снегах,
В непроходимых буреломах
Знать, что затерянный мой прах
Не вспомнит, не найдет потомок?

Легко ль провидеть, что пройдут
Года, пребудут дни лихие,

Нас вызовут на страшный суд
Дел, судебных и мытарств России,

И нашим именем трубя,
На праведном ловя нас слове,
Отчизна милая, тебя
Затопят всю морями крови,

Свободу порубив сплеча,
Безвинных истребят без счета,
И снова юность сгоряча
Возжаждает переворота.

Легко ль нам знать из нашей тьмы,
Когда падет топор с размаху,
Что ей пример и вера мы,
И мы же ладили ей плаху.

1966

* * *

Раскулачили страну —
Хоть в кулак свисти,
И на ком искать вину,
Господи, прости!

Нависали над страной
Грузные усы,
Стал палач всему виной,
Господи, спаси!

Русь в бараний рог согнул,
Страхи да суды,
Дым заводов, грохот, гул
Стройки и страды.

Все на жилах кровяных,
На седьмом поту,
Сухарях да щях пустых,
Аж неумоготу.

Коли слово поперек —
Умолкай в земле,
Властью был отвергнут Бог,
Идол жил в Кремле.

Ох, Россия, край-беда,
Смутен путь и крут,
И тридцатые года
За спиной встают.

1966

Смерть Сталина

Как вкопанные, кто в слезах,
Кто в землю невидяще глядя,
На улицах и площадях
Стояли тогда в Ленинграде.

И диктора голос с утра
Над толпами гулко качался,
Стихая печально: «Вчера
Скончался... Скончался... скончался...»

Темнели газеты со стен
И флаги мрачнели, маяча,
И глухо вздымался Шопен
Среди всенародного плача.

И в зимнем пока столбняке
Стыл город и ветры блуждали,
На Севере, там, вдалеке,
В бараках, за проволкой — ждали.

1967

Памяти Ключева

Страну лихорадило в гуле
Страды и слепой похвальбы,
Доносы, и пытки, и пули
Чернели изнанкой судьбы,

Дымились от лести доклады,
Колхозника голод крутил,
Стучали охраны приклады,
И тесно земле от могил.

И нити вели кровавые
В Москву и терялись в Кремле,
И не было больше России
На сталинской русской земле.

И Ключев, пропавший во мраке
Далеких тридцатых годов,
На станции умер в бараке
И сгнули свитки стихов.

Навек азиатские шелки
Зажмурил, бородку задрал,
И канул в глухом кривотолке,
Преданием призрачным став.

1967

* * *

Известно, что Сталин курил трубку

Кто не брал на пушку,
Не вгонял в тоску?
Нынче за осьмушку
Гибнешь табаку.

Трубки-душегубки
Тяжкий дым разъел
Речи и поступки,
Мешанину дел.

Дым доносит, судит,
Дым ведет в тюрьму,
Что там дальше будет —
Все в дыму, в дыму...

Русскому народу
С маятной судьбой
Дымную ту одурь
Чуять невпервой.

И цари, и тати,
И любая власть
Русь — родную мати
Задымили всласть.

1967

* * *

Бессребренник-трудяга
В полинявшем пиджаке
И без курева — ни шагу
Ты со мной накоротке.

И с глубокою затяжкой
Весь в мутнеющем дыму
О былой године тяжкой
Говоришь мне потому,

Что кровавой крутовертью
Был закручен и кругом
Видел страх, аресты, смерти,
Ложь на истине верхом,

И усатого владыки
Костоломный стук подков,
И как все его языки
Славили на сто ладов

Слышал. И руками машешь,
С криком дергаешь плечом,
Весь в дыму и пепле пляшешь,
Что мол сам был ни при чем,

Что пора минула злая,
И враги клеветают, лгут,
Что нельзя судить, не зная,
Есть на то партийный суд,

Что вернуться к прошлым векам
Не придется — стон умолк,
Но сломать хребтину чехам,
Как сломали венграм — долг.

Что глупа к свободе тяга.
Вновь рассыпался в руке
В прах окурочок. Эх, трудяга
В полинявшем пиджаке.

1968

* * *

Кнут соленый, жаровня, дыба
Да скрежещет перо дьяка.
И за то, знать, Руси спасибо,
Что стоит на этом века.

Что ее — волчий взгляд Малюты,
Беспощадная длань Петра,
И гражданские злые смуты,
И недавних казней пора.

Что сынов ее — пуля-слава,
Вышка лагерная — судьба,
И приветствовала расправы
Раболепная голытьба.

Но сынам ли считать ушибы,
Им ли слезы лить на Руси?
Ох, спасибо же ей, спасибо,
Спаси Бог ее, Бог спаси.

1968

* * *

Господи, помоги России,
Господи, помоги!
Прегрешенья ее прости ей
За века мытарств и туги.

Дай ей правду Твою, Божью,
Многих правд кровавых взамен,
Ибо кровь обернется ложью,
Безвременщиной перемен.

Дай любовь ей ту, что прощает,
Что не хочет слушать навет,

Что и блудного привечает,
Укрывает сирых от бед.

И подай ей веру святую,
Но не ту, что чужих губя,
Но не ту, что громко и всуе,
Господи, верни ей Себя.

1979

* * *

Приснился вождь былых времен,
Таинственно и странно было,
Я точно знал, что умер он
И помнил, где его могила.

— Вы живы? Что произошло?
В газете я читал заметку...
— Газета, знаете ль, трепло,—
Ответил он с усмешкой едкой.

— Но памятник могильный, но
Тот скульптор, с ним едва не драка...
Он удивился: «Вот смешно.
Тот самый! Надо же, однако...»

И вдруг растаял, вдруг исчез,
Как будто и в помине не был,
Как призрак или, может, бес,
России роковая небыль.

А я остался наяву
Читать в газетах некрологи,
На ус наматывать молву
И сны разгадывать в итоге.

МИХАИЛ БЛАЗЕР

В целях развития речи в объеме доходных
домов,

В числе пассажиров трамвайных,
ввиду остановки, отваги
Десен молочных, забитых бумагой зубов,
Слов, разделивших печальную участь бумаги.

В силу фарфора еще на двенадцать персон,
дел
Самых обычных, неожиданно тяжелого хода
Детских болезней, каких никогда не имел,
Выхода в третьем акте, времени года.

В силу налога на свет, ограничений на
скорость, знаков «объезд»,
Не в ущерб городскому движенью, но ради —
движенья,
В силу структуры души, петербургских
унылых дворов и присутственных мест,
Обстоятельства места и времени,
года рожденья.

В силу кирзы и дерюги, «уметь»,
превращенного в «сметь»,
Беглых согласных, коварного свойства
не-гласных,
Стертых ступеней парадного выхода в смерть,
Прочих дверей воровских
потайных и прекрасных.

«В Петрополе прозрачном мы
умрем.»
О. М.

В Петрополе не жить нам, за черту
Вышвыривают линии подземки.
Как предкам — и в потемкинских — мечту,
Потомкам же — потемки и туземки.

В Петрополе не жить нам. На излет
Клонился век, из старческих объятий
Мы начинали скованный полет,
Не истребив привычек и понятий.

В Петрополе не жить нам, миражей
Его дворцов плечами не касаться,
Не обрываться в пропасть этажей,
По слуховым улиткам не взбираться.

В Петрополе не жить нам, и балет
Его ловить обманкой на бинокль.
Нам нету слов и имени нам нет,
Чтоб мраморными вспрыгивать на цоколь.

В Петрополе не жить нам, на воде
На регии волшебной не качаться —
Рождаться, жить незнамо кем и где
И вместе с веком медленно кончаться.

В Петрополе не жить нам, не вдыхать
Его сирень с булыжником. И вопль,
Когда, почуяв время, умирать
Назло всему сойдемся мы в Петрополь,
Нам не услышать...

* * *

Мы уже полюбили посмертно толкаться
По растерзанной охре дворов ленинградских.

Это наше проклятье сильнее наркотика —
Понимать ее словом от кия до клотика,

Волочить за собой, из воды вынимая,
Голубые подводные дуги трамвая
И давиться фанерою зодчества вянущей
И бесвкусным картоном сирени непахнущей.

Этот призрачный рост и сырая этажность
Вырастают в последнюю нужность и
важность,
И громады картона дотошно прожеваны
Золотыми зубами, клыками моржовыми.

Мы всплываем со дна захламленных каналов,
По ступеням воды подымаясь устало,
Наши руки в воде стариною повязаны,
Будто змеями скользкими и косоглазыми.

Мы уже полюбили привычную тяжесть
Доморощенных мучанных вежеств и пажеств,
Мы не мыслим себя без приземистой Думы,
слов
Глубоко зароненных и вызревших умыслов.

Город, разом поставленный в жестких
границах,
Он задуман водой и водою хранится,
Процветая травой и красками жидкими,
Очищаясь от жизни со всеми пожитками.

Триста лет безутешно людьми обживаем,
Все плывет пучеглазым безлюдным трамваем.
Этот город плодит и плодит неприкаянных
Никого не убивших, но меченных Каинов,

Что отчаянно ищут свидетельства жизни
На своей водяной пузырьковой отчизне,
Что отчаянно видят за всеми рассказами
Вертикальную охру на стенах размазанных.

Мы привыкли медлительно шарить руками,
Наши пальцы скребутся по дну пауками,
По подводным ухабам, задирам и рытвинам,
На любом бугорке обмирая молитвенно.

И по пояс в воде пробредают знакомцы:
Страстотерпцы, угрюмцы, ревнивцы,
бездомцы.
Зачерпни! — зачерпнуть эти воды кишачие —
В них шевелится прошлое и настоящее.

* * *

Он нас выводит на прогулку,
Не принимая бюллетени,
И по любому переулку,
Пересекая свет и тени,
Мы движемся привычным шагом
По мостовым его холодным,
По сумрачным архипелагам,
По улицам едва надводным.
Он забегает и заходит,
Плотней смыкая вереницы,
И все, что с нами происходит,
Вопросом «где» определится,
Его умышленностью строгой
И безразличностью исконной,
Где черной лестницей безногой,
Где статуей четвероконной,
Где словом, брошенным когда-то —

Он за плечами. И тогда мы —
Одна длиннейшая цитата
Одной незавершенной драмы.

В конце века

Есть в крайностях причудливое сходство...

В Германии цветные городки
Так близко друг от друга —
Боже правый! —
Не сносишь башмаков
В лугах коровьих, мальвами заросших.
Амурные пейзажи, молоко,
Любовно пропеченные бисквиты,
Полдня пути — и новый, и другой,
И будто никуда не уходил,
И за углом знакомая пивная,
Где завсегда кружкою стучит
Хмельной и важный,
Двух войн свидетель,
Третьей — ветеран.
Как разойдется — ну скакать, рубать,
Воинственно потряхивать значками —
Берегись.
Еще квартал — и дом, родня, камин
С портретом Фридриха,
Каминные щипцы,
Герань и низкие ступенчатые своды,
И швабское, эльзасское.
Сестра, великовозрастна и блекла,
Рояль, карманная собачка,
«Тангейзер» неминуемый и пяльцы
Подслеповатой тетушки в чепце.

В России города в новинку,
Нет веры им — того гляди
Подымутся одной морозной ночью
С метелью вместе — поминай, как звали! —
Изглядятся в неровностях земли,
Из памяти и в картах. Города
Российские рассыпаны, как бисер,
Как конфетти из шляпы по снегам.
Поля, разъезды...
Фельдъегеря окликнуть не моги!
И гаснут рано огоньки предместий.
— Вина, гусары! —
Первый за царя!
Потом — за женщин, за пургу, за темень,
За всяческую сволочь — пей же, пей!..
Помилуй, Господи! —
Дорожные заносы,
Равнины снежные, колдобы
И верст немерянных встающий в небо столб.
Чуть выйдешь за город — пропал,
И пропадешь, и сгинешь в снежном поле.
Любой — единственный,
И даже — нет других,
И некуда уйти... Когда подумать —
И незачем.

Из мерзлоты

*«...Потому что не волк я по крови своей,
И меня только равный убьет.»*

О. М.

Это выдумки крашенных барышень,
Тонких пальцев трескучий надлом,
То что все достается опарышам —
Нашу плоть не разрубишь кайлом.

Наши кости спаялись каркасами,
Нечувствительны к сдвигам коры.
Мы лежим государствами, классами
Оказавшимися вне игры.

Мы лежим под чужими широтами
Недоступной пока высоты,
В комарином краю, под болотами
Наши звезды и наши кресты.

Здесь сошелся с последним Державиным
Всероссийский прокуренный Дант,
И искусанным был и отравленным,
Потерявшим последний талант.

И увидел — с одышкой сердечника
По-собачьему лаял и выл...
И роняло перо с наконечника
Виноградные гроздья чернил.

Он шершавой картонки выпрашивал:
«Ведь не волк я по крови своей!»
А мороз напоследок раскрашивал
И поземкой глаза припорашивал,
Чтоб глаза не узнали червей.

* * *

«Я не слушал сказок, я простой человек.»

А. Блок

Что же мы делали, милые, что же мы
делали —
Счастья ль искали, несчастье хлебали
горелое,

Мельниц искали по гиблым болотам
Парили веники, лапти топтали опрелые. карелами,
Десять сапог нам железных, Иванушки, снашивать,
К морю от моря по сопкам медвежьим попрыгивать,
Спрашивать тропку и семьдесят раз переспрашивать,
Сладкие меды горючим похмельем отрыгивать.

Кантеле, сладкие кантеле, ноги направили
На все четыре лихие фартовые стороны.
Вороны ржавые глотки насквозь продырявили,
И прохудились в сараях лежалые бороны.
Двери забиты землей, и, узлом перекручены,
Травы поднялись, цветет иван-чай пепелищами.
Вечно к дороге припав, ничему не научены,
Нищими вышли, домой возвращаемся нищими.

Наши клубки до последней отметки размотаны,
Посохи стертые и хлебы железные сгрызены,
Глядь — сапоги, и клубок, и напутствие — вот оно —
Снова по следу идти, по опасному рысьему.
Вяйнё, по струнам скорее ударь перезвончатым!
Тянется звон, над распадками финскими стелется.

Мельницу б только найти хоть когда-нибудь.
Нонче-то
Все повторяется, милые, все перемелется.

* * *

Нет-нет, никогда не спешил я надеть
чаадаевский галстук,
Пойти в услужение к детству и осени в белом
халате.
Мой возраст на мне, но впервые я это
признал. Стук
Откушенных стрелок утих, и луна на пустом
циферблате.

Совру не сказав, что бывает, что бродит еще
временами,
И лезет в глаза Чайльд Гарольда упрямая
чёлка,
Но это считаю болезнью, хандрой или,
скажем, цунами —
Не много в том счастья, ей богу, не больше
и толку.

И нету во мне байронических фраз рокового
резвона,
Горячей бледности. Турком под ведерной
феской
Я б в Грецию съездил, в Элладу,— но ради
камней Парфенона,
Понюхать Эгейского вала, глубокой лазури
Эгейской.

Ступить в виноградник, где гибкие лозы и
гроздьи исполнены света,
Пройти каменистой дорогой, где щерятся
в камнях эгиды.

Не выйдет — так что же — не буду кричать:
«Мне карету, карету!»,
Причины не стану искать и за пазухой
корчить обиды.

Разорванная лента

На почтовой бумаге
Бесконечной по Мёбиусу
Иногда у самого края
Подходя к краю
Заглядывая за край
Во всяком случае
По крайней мере
Расстоянье до края
На всякий случай измерив
В меру сил и случая
Разделив пополам
И еще пополам
Полагая и дальше идти
Половинчатой мерой
Но ближе и ближе
То вдвое то вчетверо
Кромку раздела деля
На себе проверяя
Одну из апорий Зенона
Которую черт знает кто
На ухо ему нашептал
С учетом того
Что не ровня увы Ахиллесу
Но также условий игры
Избытка тщеславия меры
Опять-таки меры
Подсказанной кем-то
С учетом нехватки

Свободного времени сна
Пустой болтовни
Невозможности медлить
Трагической краткости жизни
С учетом навязанных свойств
Почтовой бумаги
А также того матерьяла
Которым дороги мостят
Ведущие к краю
И дальше — шалишь
Задержавшись еще на «три-два»
На кромке почтовой бумаги
Ее бы сложить и послать
Пускай разберут
Но медлить нельзя
Свободно Свободно
Бродить муравьям
Ползать личинкам
Свивая свой медленный кокон
Бабочкам щели пространства
Нащупывать хрупким крылом
На почтовой бумаге
Бесконечной по Мёбиусу.

ТАТЬЯНА МИЛОВА

ПЕСЕНКА ОБ АНДРЕЕ ИЛЬИЧЕ

Придвинуть стул. Закрывать окно.
(Внизу играют в домино —
И хоть какая-то преграда).
...Чтоб не сплеча, не сгоряча
Спеть про Андрея Ильича —
Помещика и демократа.

Он был рожден в семье дворян,
Но, спесью их не обуян,
К дворовым сделался приближен;
Доход неправедный имел,
При этом был резов, но мил,
А позже стал неглуп, но лишен —

Се парадокс для всех времен.
C'est l'idée fixe, la grande question,
Что означает в переводе:
Вопрос о топоре, пере,
Цензуре, ценностях, царе,
Герое, боге и народе.

...Мы вправе были бы, мой друг,
Еще расширить этот круг,
Да обстоятельства мешали:
То покушенье, то дуэль —
И всех сограждан нам ужель
Делить на пули и мишени?!

Ужель не вылезать из нор?!
...Нет резонанса, резонер.
Parole d'honneur — мы зря зазнались;
Все судьбы так переплелись,
Что хоть скули-с. И вокализ,
И, боже упаси, анализ

Равно не к месту нам сейчас.
Покуда пламень не угас,
Пока умом и духом крепок —
Накинуть бы платок на рот
И склеить для себя народ
Из бревен, топоров и щепок...

Но нить рассказа я хочу
Вернуть к Андрею Ильичу,
К нему, блестящему повесе —
Ведь был горяч, ведь славно жил,
И стекла бил, и жен любил,
И тоже жил порой в Одессе,

Где думал, думал день и ночь:
Да как же ближнему помочь?
Какой рецепт ему потребен?..
Бог с ним, с Андреем Ильичом!
Он был и царством, и лучом —
Все нипочем! «Не ждали». Репин.

В России те же дикари:
Ушибы лечат изнутри,
А бунты пользуют снаружи,
То крестный ход, то крестный путь —
Мы все учились как-нибудь,
И толку чуть, и только хуже:

Чья тень маячит у ворот?..
Так значит, вновь — платок на рот —

Неровен час... А час неровен,
А год холмист, а век скалист,
И белым флагом белый лист,
И щепки стесывает с бревен,

И вот нас носит по волнам...
Нам вольно, и вольно же нам
Внимать приятному внушенью —
Мол, бог со словом и струной,
Мол, нам дано стоять стеной —
Стеной меж пульей и мишенью!...

...Рассказ, однако ж, я хочу
Вернуть к Андрею Ильичу.
Он вновь обрел края родные;
Читал Монтеня, чтил Дидро,
С изяществом держал перо,
Подписывая закладные;

Играл в бильярд, а не в лото,
Предпочитал аи бордо,
Охотился, надевши краги;
Черкал в альбомы местных дам...
А между тем то тут, то там
Все мыслил о всеобщем благе

И о спасении страны!..
Классификации смешны.
Стыду все гильдии покорны.
И все, платя его долги,
Благонамеренно благи
И благотворно поднадзорны.

Ведь что-нибудь произойдет?..
Тиран падет, заря взойдет,
Христос вернется, чуть окрепнет,—

Его никто не отменял;
Храм отряхнется от менял,
Слепой прозреет! И ослепнет

От сих блистательных реформ!
Ah! attendez-moi sous l'orme, *
Что в переводе означает —
Дождись меня под тем бревном!
...И будь глубокий эконо́м.
Иль агроном. И полегчает.

Классификации смешны.
Мишеням пули суждены —
И хоть бы хны. Прощай, столица!
Стучат костяшки домино —
Вот так топор стучит в бревно.
Ему давно пора свалиться.

Мораль рассказа я хочу
Свести к Андрею Ильичу.
Он был продукт своей эпохи;
Она же есть продукт мечты,
Где мы активные шуты
И пламенные скоморохи.

Гоните, друг мой, скорбь с чела!
Нас ждут великия дела.
Все наготове, все нам внове:
И падать в грязь, и делать «фи»,
И ждать ответных любви
При безответственной любви!

Воспеть братание людей,
Кусание сухих ломтей,

* «Подожди меня под вязом» — равнозначно русскому «после дождичка в четверг».

Локтей и прочих сочленений,
И здесь же, не сменив ключа —
Его, Андрея Ильича,
Героя школьных сочинений,

Который умер наконец —
До самой смерти не жилец,
До самой старости не Байрон,
И дай-то бог, чтобы холоп
Сказал, перекрестивши лоб:
«Он был простой и добрый барин».

1988

ИРИНА ЗНАМЕНСКАЯ

«В ФОНД ПОМОЩИ ТВОРЦУ»

Год Ахматовой

Одной самой себе — слуга,
Голубушка-душа свобода —
Ты нас подводишь за рога
К яслям ахматовского года...

Никто не вопрошает тень,
Не крутит стол, взывая к духу,
Чтобы явить в январский день
Державной горести старуху.

Она назначена. Ей — крест.
Тому Россия — подоплека:
Поэт из этих гиблых мест
Не отлучается далеко.

Есть воля, так покоя нет:
Глаза глядят и слышат уши —
Так возвращаются на свет,
Чтобы спасти родные души

Отчизны, что — во всей красе
Смущенья, бешенства, ехидства:
Неделя совести — на все
Года кровавого бесстыдства...

...Ее собирают швец и жнец,
Как перехожую калику,
Так вел измученный певец
Отпущенницу-Эвридику...

Шумит, безмолствуя, народ,
Несет звезду, играет в святки
И мы встречаем новый год
В пылу огласки и оглядки.

* * *

Душно пахнет паленой резиной,
Говор, как трансформатор гудит,
Где толпа, точно глаз стрекозиный,
В супротивное небо глядит:

Мол, сбиваются звезды толпою —
Языка ли оттуда добыть?..
Жизнь умеет не быть голубою
И собою умеет не быть,

Кол выламывая полисадный,
Хуторской заходясь правотой,
Безоглядной еще, беспощадной,
На земле, точно небо пустой...

...Лишь душа одинокая знала,
Ускользя в дыру ячеи,
Что без страха всегда пропускала
Чужаков сквозь просторы свои,

Что храня очертания тела,
Утирать неземную слезу
По чужому пространству летела,
Между тем, как родимый внизу —

* * *

Мы едем, едем: так вот и свети,
Задремывая под луной покосной!
Кузнечики по всей длине пути
Урчат, перекрывая стук колесный,

Все громче голос,
Мелодичней лад,
Неодолимей южное влиянье,—
И вот! — перерождаются в цикад
Под действием тепла и расстоянья...

Слипаются и очи и лучи,
Как водится всегда об эту пору
И пясть моя по воздуху стучит,
Как палка по садовому забору.

...Куда везешь, родимая земля,
Навстречу львам, драконам и собакам —
Не в эти ль необъятные поля,
Засеянные млечным звездным злаком,

Кому несешь ночную красоту,
Сорвав с себя туманную рубаху —
Не Господу ли нашему Христу,
Не господину ль ихнему, Аллаху,

Кому глаза отводишь, чуть дыша,
Замазав тьмою все рубцы на теле,
И почему доселе — хороша,
И отчего еще жива — доселе?...

* * *

Политика цветет в саду,
В почти мичуринском эдеме

Чернобыльском, где на звезду
Глядим, как стадо в Вифлееме.

Внизу уже пора весны:
Здесь, злей чем истины стаканчик,
Горчей цикуты, белены
Горит зеленый одуванчик.

Какой невыносимый цвет
Вранья сиреней и черемух!
Что может выстроить поэт
Из здешних слов полужнакомых.

Полузасвеченых? Завлечь
Сюда какую сказкой снова?
Вся эта неродная речь
Прощальное скрывает слово:

Мол, божьим тварям — плоть и кровь,
Кому, прозрение и мука —
Тому — последняя любовь...
А прочим дуракам — наука.

* * *

Бытие определяет, а сознание не хочет,
Уклоняется,
 виляет,
Точит когти,
 слезы точит,
Обращается к природе,
Отправляется на дачу,
Ишь, как пышно в огороде —
Что же я все время плачу?
Вот и роща притерпелась,
Вот и озеро заглохло,

Вот и пеночка распелась:
— Трали-вали, кошка сдохла!
Вот и смена поколений,
Перемена ветра снова...
Что-то долго дивный гений
По складам читает слово!...
Что-то в генах, в поминанье
Не оплачено,
Быть может,
Что-то в яблоке познания,
Что и червь его не гложет...

* * *

Послание к * * *

Дух посланий и слог их — неясен,
Но пускаю свой хлеб по реке:
Ты — прекрасен, твой город — прекрасен,
(Да и я хороша — вдалеке...)

А какое у нас государство!
А планета!
А наша звезда! —
Все эйнштейново божие царство
Насмотреться не может сюда...

А какие законы природы —
Как захочешь, так ими верти!
А какие, однако, погоды
И открытые всюду пути...

...Я не плачу, но грех — не поплакать,
Потому, точно Спас на крови,
Наших душ недоваренных мякоть
Дорвалась до всеобщей любви:

Лучше нас не бывает на свете
Там, где нет кроме нас никого...
А каков нынче западный ветер!
Как мы ловим ноздрями его!..

* * *

...Мчит по трассе местный прокуратор,
Чтоб заночевать под Ленинградом.
...Спекулянт, не то — кооператор
Продает икону «Жора с гадом».
...Видеосалон из подворотни
Выглянул, как голые коленки:
Зрители, числом до полусотни,
С дивной жизни слизывают пенки...
На Садовой зарывают яму.
Под окном вскрывают вены трубам.
То кладут асфальт, то ставят драму,
То вживляют челюсти беззубым.
Строят дамбу.
Рубят сад вишневый.
Обдирают на унты собаку.
Свадьбу в диетической столовой
Празднуют, заказывая драку.
Когти рвут. Сдают в аренду Крепость...
Помянув нечистого ли, бога ль,
В конкурсе на лучшую нелепость
Бытию проигрывает Гоголь!..
Век недобрый с каждым днем короче —
Сквозь его нервические зимы
Все глядят во тьму кошачьи очи,
Глаз моих ночные псевдонимы...



«...Я зачитался.»
Рильке.

...Читать, читать! — как прежде — пить,
Гордыню растворяя в горе —
Бессмысленна земная пруть
В открытом небе или море:

Забыть себя, лежать меж сред
Спиной к полуденному диску,
Читать любой вспотевший бред,
Как ту, предсмертную записку.

Читать, ни с кем не говорить,
Меж всех космических подлодок,
Меж тем, как чайки будут брить
Небес курчавый подбородок,

Меж тем, как чертики — к грозе —
Пойдут снова по тусклым водам
И пастырь по своей стезе
Сойдет к испуганным народам,

Читать — под топота исход,
Под расщепляющийся атом,
Под полное смыканье вод
Над несомненным Араратом,

Под возбуханье Атлантид —
Пока в своем алмазном круге
О незнакомый алфавит
Ты лбом не стукнешься в испуге!

* * *

Покуда лето — летом, а зима — зимой,
Но лето — все грубей, а осень — все
пространней...

Еще курлыкают над нами: ангел мой
И твой хранитель в реве расставаний.

Еще пытаемся прощения просить,
Не делать больше так, но жить по всем
законам...

И мясо можно есть еще, и воду пить
И полежать еще на островке зеленом.

Но волк со дна души несыто смотрит в лес
Опор и проводов, Аэсов и Минпромов,
И взял уже Господь любовь наперевес,
Почти избыв запас потопов, гроз и громов.

Еже писах — писах! — творение живет
И гложет свой рукав и рубит сук вчерашний
И, разведя огонь, в огне шукает брод
И учит языки и строит телебашни

И пробует любить — нет дела тяжелей
Всем, на ухо тугим, полуслепым и сирым,
И отдает свои четырнадцать рублей
В фонд помощи Творцу, приговорив всем
миром.

АЛЕКСАНДР ВОЛОДИН

А кто эти? Неполноценные писатели, второстепенные актеры, временно известные публицисты — вдруг, ненадолго вспыхнувшие недостоверной талантливостью? Неэрудированные, сентиментальные, не по возрасту возбудимые, быстро устающие, выпивающие, а то и просто алкоголики? Они просто не до конца убиты войной, просто не до конца смяты временем. И успели осветить вокруг себя лишь небольшое пространство.

ЗАПИСКИ НЕТРЕЗВОГО ЧЕЛОВЕКА

Я решил писать эти записки только лишь в несколько нетрезвом состоянии. Дело в том, что в обычном состоянии я то и дело поступаю глупо, оскорбительно для другого человека или постыдно для себя. Что влечет за собой далеко идущие тяжелые последствия для меня же. Причем, удачно маскирую эту присущую глупость, так как усвоил грамотную фразеологию, говорю с причастными и деепричастными оборотами и так далее. Надо

сознаться, это небезопасное тяготение к спиртному отчасти появилось еще на фронте, с так называемых фронтовых сто грамм, тем более, что как правило их доставляли нам на то количество личного состава, которое было до потерь, так что могло получиться вплоть до пятисот на рядового. Но теперь мой знакомый, бывший алкоголик, сказал, что я уже не сопьюсь, потому что не позволит возраст и состояние организма, он будет сопротивляться. Мне семьдесят лет. Какой ужас, а?

Беда в том, что я, когда не выпью — не человек. То есть вялый, скованный, малоинтересный. Если же немного приму, то становлюсь раскованный, с чувством юмора и любовью к рядом сидящей женщине. Тогда мне и со случайными людьми хорошо и им со мной хорошо.

Вот и все, что я могу на сегодня. Спокойной ночи, приятных снов. В отрочестве мне снилось — это я печатаю уже на другой день — вот я лечу, а внизу лежат светящиеся женщины, слегка приподняв одно колено каждая. А одна среди них — Прекрасная, с большой буквы. Наши девочки в десятом классе (в десятом, подумайте! но в тридцать шестом году) говорили нам дуракам: «Вы думаете, у женщины главное грудь? Какая ерунда. Главное ноги!»

Когда начались сомнения? Когда началась отдельная от государства жизнь? Точнее сказать, не мы от него отделились, а оно от нас отделилось, дало понять, что не нуждается в наших мнениях. А нам — то и дело стыдно

за него. За другие государства не стыдно, они не наши, а за это стыдно, потому что оно наше, и все, что оно делает — это как бы мы делаем, и все, о чем оно врет — это как бы мы врем. Нет, понять можно, ну — люди там, в правительстве не очень умелые, никак не могут сообразить, не получается. К тому же, например, в бараке на пятьсот человек труднее навести порядок, чем в квартире на троих, словом, много объяснений можно найти.

Вопрос: почему отшельники удалялись от людей? Раньше я думал, потому, что все люди греховные, значит подальше от них. На самом же деле вовсе не так. А потому, что он, отшельник — среди людей то и дело допускает плохие, грешные, как говорится, поступки, сам того не замечая иногда! Отшельники бежали от своего соблазна обидеть, согрешить, как говорится. Соблазны, конечно, внутри нас, но возможность этот соблазн осуществить — она только среди людей.

Составляю списки, перед кем виноват. Прошу прощения. Некоторые даже не понимают, забыли, за что. Но есть такие, у которых уже просил прощения и обижал снова. Грех не случается, а совершается. В результате всего предыдущего, всей жизни твоей. Позвонил по этому поводу Яше, святой человек. А он говорит — да это у каждого есть! Думаешь, говорит, у меня нет? У него?.. Это меня сразило. Раз у всех, и особенно с возрастом такие мысли, значит, еще ничего. Значит, пришло время искупать, каяться. Но перед кем? Материалистическое воспитание... Вот сложность в чем.

Разумеется, не всегда я буду печатать в нетрезвом состоянии. Иначе можно спиться. Вот это, к примеру, я печатаю в трезвом уме и твердой памяти.

Рабовладельческий строй сменился феодальным и так далее. Сейчас, на новом витке истории он возрождается. Все многочисленной клан людей, которым необходимо рабовладельчески властвовать. Нельзя над многими — пусть хоть над кем-нибудь, хотя бы даже временно, ненадолго. Для этого им не нужны действительно зависимые от них люди. Ради того, чтобы добиться подчинения, рабского услужения себе, они сами готовы унижаться, сымитировать, а то и на самом деле тяжко мучительно обидеться, вымолить, только без свидетелей, наедине. На людях эта иерархия восстановится.

Как обычно, спрос рождает предложение. Тут — добровольное. Растет, ширится порода тех, кто подготовлен уже к зависимости. Кто своей интеллигентностью, своими комплексами, своей неспособностью разгадать дьявольские хитрости. А кто — вообще привычкой жить в условиях молчаливого рабовладельческого витка истории.

Рабство последних у предпоследних (по положению), рабство нижележащих у средне-сидящих, рабство среднесидящих перед вышестоящими, рабство вышестоящих перед еще более высокостоящими. А рабство страны перед страной? Рабство распласталось во всю свою рабскую распластанность.

Должен упомянуть, что сейчас пропустил пару рюмашек. И протрезвел. И направление мыслей стало, чувствую, светлеть. Гении поэ-

зии не подведомственны рабству. Вся мощь государственной машины обрушилась на одного по годам уже старого, правда такой поэт выше возраста, аполитичного, правда такой поэт выше политики, непонятного народу, правда такой поэт выше способности всего народа его понять — государство во главе с Хрущевым обрушило всю свою силу на него — и все! Это! рухнуло перед ним! Признавшим себя побежденным, попросившим не выдворять его за пределы его родины. Это Пастернак, если непонятно. Это лягушка на болоте, как выразился кто-то из простых рабочих словами кого-то из простых журналистов. Этот — «кто такой Пастернак, что-то не слышал». Сейчас не упомянуть Пастернака, если речь идет о поэзии, просто неприлично, и непатриотично.

Другой поэт, женщина, прибывшая к родине. Уничтожила себя сама. Ничего не имела против родины своей. А пятно этой гибели осталось на родине, до сих пор отмываем, никак не отмыться до конца. Это Цветаева.

У каждого свое страдание. Геннадий Шпаликов, писатель светлого молодого дара, в течение двух-трех лет постарел непонятно, страшновато. Встретились в коридоре киностудии. Он кричал-кричал! «Не хочу быть рабом! Не могу, не могу быть рабом!..» (Далее нецензурно). Он спивался. И вскоре повесился.

Самое ненавистное, непереносимое — насилие, рабство человека перед человеком, рабство страны перед страной, но об этом я кажется уже писал.

Неполноправная долгая жизнь у родст-

венников. Потом долгая неполноправная жизнь в армии в мирное еще время. Тогда многие годы никого не демобилизовывали в ожидании войны.

Правда, постепенно воинская дисциплина становится привычной и вот мне, рядовому, доверяют заниматься строевой подготовкой с подразделением — вперед до пояса, назад до отказа, носочек тридцать сантиметров от земли.

И война первых месяцев — с марсианами, в расчете на то, что гусеницы их танков поскользнутся на нашей крови. И госпиталь с палатой на пятьсот человек — кто мог ползать, пописать в консервную баночку, которая стояла посередине. Равенство боли и бесправия.

Описываю случай. Я был в ленинградском доме ВТО и там не очень знакомая женщина сказала, что она хочет есть, а денег нет. А у меня в кармане пиджака были. И я сказал: «Пойдем напротив в ресторан, там поедим». Конец цитаты. А это как раз было, когда наши танки вошли в Чехословакию. А я Чехословакию люблю за фильмы, которые все время в Америке получали «Оскаров». И вот я сильно напился, и встал, и обернулся к залу, и во всю глотку: «Стукачи, выньте карандаши и блокноты! Я за свободу демократии и Чехословакию!» И все стали смотреть на меня, но никто не вынимал карандаши. Тогда я еще раз и еще раз: «Стукачи! Выньте карандаши и блокноты!..» Конец цитаты и т. д. Тогда за наш стол, большой, перед самым оркестром, сели несколько

молодых людей, они меня полюбили, и я их полюбил, и мы стали пить друг за друга. А женщина куда-то исчезла, я и не заметил. Потом она подошла ко мне со своим партнером, оказывается, она пока танцевала. И они схватили меня за руки и быстро повели к выходу, и по лестнице вниз, и в машину, и отвезли домой. Даже не расплатились. А на завтра я рассказал кому-то об этом случае и мне воскликнули: «Да она же стукачка и есть!» Конец цитаты. Но я не поверил. А если и да — то тем более благородная женщина. А через несколько лет я неожиданно встретился с ней, она занимала какую-то должность. И она говорит мне: «Помните?..» и т. д. И все напонила. И оказывается она-то как раз не стукачка, а оказывается наоборот те, которых я полюбил за столом — они и были стукачи! Поэтому они и разговаривали с оркестрантами как знакомые.

Стыды. Не ходил на Красную площадь с теми, шестерыми, против наших танков в Чехословакии. Это например. А сколько лихорадочных, глупейших поступков, они же, как правило и плохие?.. Ладно, у Соловьева: «Я стыжусь, следовательно существую». Или: «Спокойная совесть — изобретение дьявола». Для утешенья на полторы минуты. А как с этим жить, по утрам? Ведь стыды-то не выдуманные, настоящие!

Только ранним солнечным утром и может это присниться. Дождь по крышам подъездов (тогда еще были навесы над подъездами). И дождь по крышам подъездов. По си-

ротливым (всю ночь под этим дождем) деревьям. И черное небо, потому что снится ночь. Но кокна (окна) почему-то все освещены. Там за ними живут люди, которым ты необходим (во сне ты совсем молодой). И они, люди, тебе тоже необходимы. Но сейчас мы друг другу еще неизвестны. Но потом, в будущем, ты отдашь им свою жизнь и будешь умирать под этот белый шум дождя, а они выйдут из-за окон и будут тихо стоять вокруг.

Это я пишу трезвый, потому что винные магазины открываются с двух только, а запастись забыл.

А когда не забываю, то прячу бутылку, чтобы сын, он еще учится в школе, не увидел, что я выпиваю по привычке прямо с утра. Причем, однажды он ее увидел (бутылку). Тогда я начал прятать ее в разные места. Но вдруг, проснувшись, стою посреди комнаты и вспоминаю, куда же я ее спрятал вчера. А сын говорит: «Папа, она там». Значит, он знает! Но все равно стыдно, и прячу по-прежнему в разные места, но уже стараюсь не забыть, куда.

Если сказать встречному человеку «Доброе утро», то он подумает, что мы знакомы, просто он позабыл, и ответит «Доброе утро», и улыбнется, так уж принято. А потом наступит время, когда можно уже сказать «Добрый день». Можно тем же самым людям. И они ответят «Добрый день» и возможно еще раз улыбнутся. А чуть начнет темнеть — я им: «Добрый вечер». Были такие, которые улыбались по три раза за день. А сегодня один

спросил: «Батя, где тут винный магазин?» Как хорошо спросил! Как будто мы с ним давно уже свои. «Да вот, говорю, рядом!» Он обрадовался, что близко, улыбнулся и сказал: «Спасибо, батя».

Когда я начал становиться таким? В армии? Нет, совсем нет! Были тогдашние солдатские, родные, единственные друзья. А вот после войны... Нет, друзья появлялись и тогда еще, вспыхивали вдруг ярко, восхищали, ошеломляли, казалось, вот этот — навсегда, такого еще и не было! Живите у меня! Зачем в гостинице! Приезжайте с женой! А я приеду к вам!.. Обманы, пустые надежды.

Некогда были слова: «звезды», «небо», «счастье», «самоубийство». Теперь вместо них слова все простые, а тех — нет и в помине. Первая Мещанская (теперь проспект Мира) зимой была белая внизу и черная со звездами в вышине. Мерцали звезды наверху, мерцал снег на мостовой. Когда-то. До войны спектакли в театрах шли с занавесом. За ним была тайна, гнездились неведомое. Вот сейчас оно оживет, но не сразу станет понятным, а постепенно, когда занавес начнет утомленно сдвигаться... Когда-то.

Видимо, я был запрограммирован на тот возраст. Как жить в теперешнем — не знаю.

А скромность? Пресловутая эта скромность. Не зря говорят: уничижение паче гордости. Я, мол, вот какой скромный. А вы, мол, вот какие гордые. Не говоря уже о том, сколько ненужных обид и неудобств она доставляет самому «скромному». Сколько оче-

редей он выстоял понапрасну, не спросившись, необходимо ли их выстоять. А иные очереди по скромности выстоял дважды! А скольким людям, неприятным и чуждым, он подчинялся просто из боязни задеть их самолюбие, оказаться в их глазах гордым. Сколько раз сопровождал их бог знает куда и зачем, занимался их неинтересными занятиями, играл в их тоскливые игры, проводил с ними их пустынное время, поил их, веселил и развлекал их, а то и хуже, отдавал им то, что самому было важнее важного. Как торопился отдавать! Чтобы не подумали, что жалею! Но потом, потом — вот что главное — как бежал, как скрывался от них! Завидя вдаль, переходил на другую сторону улицы и обращался в бегство, у них на глазах, и они не понимали, в чем дело, они уже успели привыкнуть к нему, полюбить его скромность и готовность на все.

И все же. Все же. Все-таки. Возможно ли не быть скромным перед человеком, которого мы почему-либо вознесли в своей душе? И перед морем мы скромны. И перед войной мы скромны. Перед деревенской девушкой на речке мы скромны. И перед собором, костелом, мечетью, церковью мы скромны...

Когда я жил, я писал сценарии для кино. И вот пришлось приехать в Дом кино, в Москву на премьеру фильма, поставленного по моему сценарию. Мне не хотелось ехать. На торжество по этому поводу, который того никак не стоил. Беда в том, что я всегда тороплюсь кончить работу и тогда уже смотрю, что получилось. Но после того, как кончишь, уже

неохота смотреть, что получилось. И получилось ли вообще что-нибудь. Поэтому может получиться так, что получилось совсем не то, что ты думал. Так получилось и на этот раз. Но если бы я не приехал, то я обидел бы киногруппу, которая не виновата же, что у меня что-то не получилось. Но я-то все равно понимаю, что написал плохой сценарий. И причины этого я сам уже знаю. Он получился плохой помимо моей воли. Когда писал, я думал, что он будет хороший.

И вот теперь надо выйти на сцену перед экраном вместе со всей группой и стоять там, демонстрируя свое мучительное лицо. Вышел, отстоял. И только одно все время думал: все забудется, все уйдет в прошлое.

А после картины, после стыда этого группа поднялась в ресторан, он там наверху, на застолье по поводу картины. А я рестораны эти терпеть не могу. Гордые официанты, тосты и все такое. Надо было сказать тост и поблагодарить всех. Но я сижу, молчу, пусть первый тост скажет кто-нибудь другой. А после того, как я охмелею, вообще все станет проще. А потом пройдет какое-то время и вообще все это забудется, уйдет в прошлое. Но режиссер постучал ножом и объявил, что я хочу сказать тост. А что говорить? Говорить-то что? Но так принято. И вот встаю и говорю нечаянно то, о чем думал все время:

— Все забудется, все уйдет в прошлое...

Но было шумно, кто-то еще праздновал что-то еще и мне закричали:

— Громче, не слышно!

Но раз я так уже начал, то и повторяю как попугай, уже громче:

— Все забудется, все уйдет в прошлое!

Тогда кто-то распорядился:

— Дайте микрофон, микрофон попросите!

С эстрадки мне дали микрофон на шнуре. Но я не знал, что он так усиливает звук.

— Все забудется, все уйдет в прошлое!..

И больше ничего не могу добавить, такой рев получился. Да и мыслей других больше нет.

Наверно подумали, что я пьян. А я тогда совсем немного, просто чтобы отключиться.

Отдельные мысли

Все с ума посходивши. Все с ума посходивши. Все с ума посходивши. Все посходивши с ума. Проба пера.

Рыба теперь гниет не только с головы, но и с хвоста.

Все больше вампиров, все меньше доноров, нехватка крови.

Любящие люди сосут нас больше, чем остальные, за это и любят.

Прежде Россия славилась пушниной, лесом и бабами. Теперь бабы стали деловые, волевые, да и корыстные.

Прежде, когда становилось постыло, все могла заменить одна женщина. Теперь эту одну найти невозможно. Может, потому, что глаз пригляделся, чувства притупились, бдительность ослабла. Если и мелькнет такая, ты ее и заметить не успеешь.

Да и мужики. Тех, кто не мог жениться (война), сменили те, кто не хочет жениться. Еще чего, взваливать на себя? Хватит и без того.

У интеллигенции вместо идей и страстей — сплетни. Называется информация.

В искусстве размножились дегустаторы. Этак, язычком: Ц.. Ц.. — устарело это, сейчас нужно вот что...

Прежде сверху указывали, каким и только каким должно быть искусство. Теперь — прогрессивные дегустаторы решают, каким и только каким оно должно быть. Одноместный трамвай.

Сейчас, например, надо, чтобы было страшно. В черных машинах, в бежевых дубленках приезжают посмотреть спектакль из жизни коммунальных квартир, из жизни насекомых.

Правда, война была все же страшней, чем такой даже театр.

Но время — само время насколько стало умней! Так высветлило прежнюю нашу глупость! И в мыслях и в разговорах стало возможно все. Почти. Только понимаем мы теперь еще больше, чем.

Для нас, учеников 33 школы РОНО на 1-й Мещанской предвоенные годы были безоблачны. Было уже ясно, что мировая революция не за горами, хотя немного и удивляло, что это там рабочий класс медлит.

Как хорошо однажды понять, что ты — человек прошлого. Знакомые думают, что они знают тебя, а на самом деле они помнят тебя. Женщины прошлого красивы, деревья прошлого густы. Переулки прошлого, празд-

ники прошлого, дожди прошлого, книжки прошлого... Стать человеком прошлого в старости — поздно, когда ничего нет в настоящем, то и прошлое не поможет. Но сейчас, когда можно еще жить настоящим, хорошо бы не зависеть от него. Да и от прошлого можно не зависеть. Пускай оно зависит от меня. Каким я его вспомню, таким оно и вспомнится.

Когда мы влюблялись, не казалось ли нам, что это — на всю жизнь? Сколько раз мы ошибались в этом. Когда мы переходили на новую работу, не радовались ли мы обилию новых людей, возможности новых дружб, новых знакомств, новой жизни, непохожей на прежнюю? А когда мы привыкали к этим людям — как разочаровывались. Сначала в этом человеке, затем в том, как стали безразличны многие, а другие остались такими же незнакомыми как прежде. И только несколько человек, а когда мы немолоды — один или два оставались нам друзьями. Так мало...

Печорин презирал свет. Сейчас свет тоже существует. Более того, существуют два света. Есть Правый Свет и Левый Свет. Нечуждый культуре Правый Свет. И — Левый Свет, который в курсе того, что недостойно, что прилично, что интересно. Причем, представители того и другого Света все чаще переплетаются, вырастают друг в друга. Все трудней различить, кто представитель какого света. В одном лишь и тот и другой Свет солидарны полностью: «Когда все это наконец кончится!»

Сын спросил: «У тебя так бывает? — вот, ты знаешь, впереди будет что-то хорошее. А что хорошее — никак не вспомнить. Но что-

то хорошее будет». Было у меня так, было. Очень давно. Теперь же наоборот: знаю, что впереди что-то плохое. А что именно, точно не знаю.

Когда я попал в госпиталь, на спинку койки был намотан провод с едва слышным радионаушником. Превозмогая свое плачевное состояние, я прижимал его к уху и слушал нечто, напоминавшее музыку. Я не слышал ее с начала войны, забыл, что она существует. Звуки музыкальных инструментов еле-еле складывались в мелодию. Но она была, где-то там, существовала!

Теперь музыка со всех сторон — по телевидению, по радио — не слышу, нет ее нигде.

Раньше падал духом с высоких мест. Взбирался на них долго, а падал легко и ненадолго. Теперь же особенно высоко не взбираюсь. К чему? Все равно падать. И сами-то по себе эти вершины, откуда я теперь падаю духом, прежде служили теми местами, куда я падал духом сверху.

Из-за чего только не мучился! Из-за того, что обидел — нечаянно, и не думал. Из-за того, что опоздал, не сумел, сказал глупость, поступил глупо. Из-за женщин, порядочных и непорядочных, из-за порядочных больше. Из-за друзей, близких и не очень, из-за близких больше. Никогда не мучился только из-за одного: из-за того, что мучаюсь понапрасну. А жизнь между тем идет, проходит...

Никто не свободен. Ни в чем не свободен никто. Любой поступок, любое решение пред-

определено, либо извне, либо изнутри. Как короток этот поводок, на котором мы кружимся.

Еще один день рождения. В детстве поздравляли старшие, и твоя жизнь становилась для тебя значительной, праздничной... Старших нет. А поздравления младших не поднимают тебя, как прежде, в собственных глазах.

Тягостные эти вопросы: «Над чем вы сейчас работаете?» Что отвечать? Много лет еще надо придумывать, год за годом. Уж уклонился — некоторые не дают, настаивают. «Я не люблю об этом говорить?» Самому стыдно. Решаюсь говорить правду: «Ни над чем не работаю». Попробовал — думают, что это просто шутка, чтобы отвязались. А я ни над чем не работаю. Пью все больше, теперь уже не только с утра, потом надо добавлять и добавлять. Но зато стараюсь печатать хотя бы без дурацких опечаток, связно и логично.

А потом началась настоящая война. В расчете на наши винтовочки образца 1891/30 гг. Против автоматов и минометов и «мессершмитов» и радиосвязи и окружений.

Душа, однако, дожила до мира. Правда, захирела, стала почти невидимой глазу. Правда, мир получился не ослепительный, как ожидалось, а почему-то тусклый и опасный. Слово бы изнанка войны. Душу, словно бы по привычке, все топтали и поносили, и приустила она. Вот с этой, усталой, и живу.

В конце шестидесятых, примерно, годов я написал пьесу о стране, где живут шестьдесят семь человек, она вымирает. Это чтобы были понятней некоторые процессы, которые мне виделись в далеком возможно будущем, а может быть ничего этого не произойдет. Ну, Олег Ефремов понес эту пьесу в Министерство культуры, но там, прочитав, сказали ему: «Вы нам этого не давали, мы этого не видели». А это по тем временам было еще благородно. Это я пишу в качестве предисловия, главное же, что сейчас произошло в нашей стране примерно то, о чем было в пьесе, и называется это «перестройка». Года два назад пьесу легко напечатали. Однако там была сцена и о том, что может произойти после, если все вернется к прежнему. Но это я сам же изъял, потому что во все еще верилось. И напрасно. Теперь, кажется, что к прежнему может и вернуться.

Три года довоенной казармы, непрерывное неодиначество. В Полоцк отпускали по увольнительным хорошо если раз в четыре месяца. Полагалось бы чаще, но в воскресенье обязательно обнаруживалось нарушение дисциплины где-нибудь в городском гарнизоне и увольнительных лишались все. Вырвавшись наконец по увольнительной в город, мы лихорадочно ходили по улицам и садикам Полоцка в бесплодной жажде знакомства. По воскресеньям женщины и девушки старались не выходить на улицу. Те, что выходили, знакомились только с офицерами. С рядовыми совсем уж какие-нибудь убогие. Садовые разговоры были однообразны, никто не пытался

нарушить этот ритуал: «Ну, расскажите, что-нибудь». «А что мы расскажем, мы дома сидим, а вы всего повидали, вы и расскажите». «А что нам рассказывать, мы в казарме сидим, мы вас послушаем».

Известие о войне — счастье! День пути — и заграничные страны! И победа и гражданка и свобода!..

Превращения души

Сначала она пылала. И была за это исключена из пионеров под барабанный бой. А потом из комсомола под скрип перьев. Потом попала в прокрустову армию и там ее проучили. Она сделалась в точности похожей на все другие солдатские души — компактной, готовой в любой момент. И вот — первый момент.

В сороковом году наш полк, стоявший в Полоцке, был поднят по ночной тревоге. Куда-то ехали в грузовиках. Заняли боевой порядок перед границей какой-то страны. Указаны цели: дом со шпилем на башне, лесок с отдельной сосной. Но за час до назначенного срока объявили приказ огня не открывать, а перейти границу мирно. На другой день мы узнали, что Эстония, Латвия и Литва добровольно присоединились.

Воспоминание

Пятидневный отпуск с фронта! Домой В тыл! Со справкой, выданной на руки комиссаром! И я получил это! В сорок третьем

году! И все смотрели на меня и все говорили обо мне, и каждый примеривался, что бы он делал эти пять дней дома! И подмигивали мне и говорили про тех баб, которых в тылу полным полно, которые только и ждут! Чтобы отдаться! Пять дней!

Пять дней! И не просто так, а я правда делал все, чтобы получить отпущение за то, что я еврей и плюс к тому как бы интеллигент.

Пропускаю дорогу, потому что не в ней дело. Печатаю медленно, следя за каждой боквой, чтобы все было точно.

И вот Москва. И останавливает патруль. Дело в том, что у меня была медаль «За отвагу», но вместо нее еще не распространенная тогда, в то время, планка, сероватая с голубыми полосками по бокам. А медаль у меня нечаянно сорвалась с колечка, когда я вытряхивал вшей из гимнастерки, после того, как обжарил их на костер. Медаль, главное, тогда еще нечастая, на красной, прежде еще, колодке. Я искал ее в траве, да так и не нашел. И вот планка внушила подозрение патрулю. (Больше не буду ставить запятых а то хмель пройдет а я не успею.) В районной комендатуре мне дали метлу и первый день отпуска я провел, то есть подметал там двор.

Потом отпустили. Пошел на Сухаревскую площадь, там до войны жили родственники, у которых я жил. Простите за нескладность выражений.

По улицам как ни странно ходили военные с портфелями. На фронте я знал, что в тылу остались только самые одаренные необходи-

мые родине люди. Страшно было подумать о том чем я смогу заниматься там, если останусь в живых. И вот я на углу Колхозной (наоборот Сухаревской теперь Колхозной) площади и Первой Мещанской (Проспект Мира). Поднялся на второй этаж по грязной лестнице — дверь забита: родственники уехали неизвестно куда. Тогда я пошел на Гоголевский бульвар где жила моя мачеха верней даже не мачеха потому что она поставила условие отцу что выйдет за него но без ребенка. Поэтому я и жил у родственников.

По дороге я конечно смотрел только на женщин их тоже было много на улицах но они были все озабочены и судя по всему кому-то уже принадлежали. И никто из них даже не подал намека что хочет со мной познакомиться.

Мачеха оказалась дома, у нее было слегка одутловатое лицо, интеллигентное. Нос был тоже интеллигентный. Ходила она утиной походкой, поклевывая головкой. Она впустила меня и заплакала. И у меня ком в горле. Стал доставать из вещмешка сухой паек. Там была свиная тушенка и сухари и шпиг и много чего еще на пять дней. Она так смотрела на это что я выложил все на стол и чтобы она могла поесть без меня не стыдясь вышел на Гоголевский бульвар. Когда вернулся она уже все аккуратно сложила уже и опять заплакала. Мне стало стыдно, что я плохо о ней думал. На ночь она мне постелила на кушетке и стала рассказывать как она не хотела идти за папу потому что он был намного старше. Но она думала что он обеспеченный человек а оказалось что он даже не обеспеченный че-

ловек. А она работала машинисткой и ее один генерал называл статуэтка.

На другой день в этой коммунальной квартире обнаружилась девушка. Но мачеха предупредила, что она проститутка. Она была некрасива но не так как бывают некрасивы студентки или домохозяйки. Я понял, что могу полюбить ее уже люблю. Но мачеха заметила это и сказала, что она больна дурной болезнью, и к ней ходит лейтенант. «А как же лейтенант?» — спросил я. А лейтенант тоже болен. Сначала хотел ее убить, а сейчас они оба лечатся.

Вот так жил у мачехи, на улицу старался не выходить, а то заберет патруль. На третий день мне захотелось обратно. Но приехать на день раньше, ну это просто стыд будет перед всеми. Что скажу? Прожил еще один день и вернулся в часть, которая была на переформировке. И стал врать. Ведь это за них я побывал дома! За них за всех! Любой из них получил бы столько радостей за эти пять дней! Это я должен был!.. И рассказывал, с кем я и еще с кем и что она и что та...

Об этом трудно, об этом надо, будучи трезвым. Давно это было. Травили Зошенко.

В «Огоньке» прочитал статью о том, как его заставили каяться (в Ленинградском доме писателей). Английским студентам, которые спрашивали, согласен ли он с ждановским постановлением о нем и Ахматовой, он сказал: «Нет». Вот за это. После его выступления двое в зале решились заплодировать ему, один был Меттер, другого Гранин не помнит. Другим был я. Меттер был редактором моей

первой книжки, мы стояли где-то сзади, у дверей. Аплодировать в общем было неуместно, сейчас поймете, почему. Но все же это означало бы, что зал принял и одобрил покаяние.

На сцене сидели приехавшие из Москвы на это мероприятие. Кожевников и Симонов, сидели в президиуме. Симонов — вальяжно, облокотясь на белую руку. (Как любили мы его стихи на фронте, как ждали их!) Зошенко не каялся, а пытался объясниться. Долго. В войну его попросили написать что-нибудь смешное, для детей. Пусть голодные, холодные хоть повеселятся. Он написал про обезьяну, которая убежала из зоопарка. Напечатали в журнале «Звезда». И вот теперь, уже много после войны, Жданов написал статью, которая стала постановлением партии и правительства, где представил это произведение, как злобный пасквиль на советских людей. (Как продуманно, по-изуитски соединил «пошляка» Зошенко и утонченную врагиню народа Ахматову. Получалось, что между этими полюсами уже всякое писание подозрительно).

Закончил Зошенко страшно. Крикнул в зал: «Не надо мне вашего Друзина, не надо мне вашего сочувствия, дайте мне спокойно умереть!» (Друзин был редактором журнала «Звезда»). Этого крика, этих слов не забыть. У сидевших в зале были гримасы страдания на лицах. У всех. Вот тогда Меттер и я захлопали. В тишине. На что вальяжный Симонов, грассируя, проговорил: «Ну вот, два товарища в задних рядах присоединили свои аплодисменты к аплодисментам английских буржуазных сынков».

В «Сентиментальных повестях» герои Зошенко жалки, ничтожны, бесталанны. Неспособны оценить любовь к себе, неспособны одарить своей бестолковой, беспомощной любовью других. Жизнь постепенно лишает их всего: веры в себя, крова, денег, к концу каждого рассказа они голы, нищи перед собой и перед другими, любившими и любимыми некогда. Зошенко как бы приравнился, примерял себя к ним, лишенным права голоса в свою защиту. Вот тогда, в том зале его собственная мучительная жизнь прокричала о себе сама.

Плохое дело привычка. Вот и выпьешь, а в голове все равно все четко. И перечитать неинтересно, как будто и не выпил.

Давно это было, а забавно. Бригада в составе баяниста, лектора на политические темы и пачинающего писателя (меня) обслуживала предприятия Мгинского района. В школе рабочей молодежи мне стали задавать вопросы о Дудинцеве и Пастернаке. (Это как раз тогда все было). Я отвечал как и думал. На другой день меня вызвали в райком и прочитали вслух письмо учительницы, которая присутствовала на этой беседе. Она точно записала мои ответы, и все они были действительно по тогдашним временам никак недопустимы. А в конце письма, чтобы разоблачить меня до конца, она добавила: «К тому же он был нетрезв».

— Что ты пил-то? — спросил секретарь райкома.

— Стакан красного вина и пиво.

Тут работники райкома оживились.

— Кто же это вино с пивом мешает!

— Водку нельзя с пивом мешать, а вино еще хуже.

— Вот, даже коньяк можно с шампанским. А вино с пивом — никогда.

И поняв, в чем заключалась моя оплошность, письмо порвали, а меня отпустили, напутствуя советами, как и что следует пить.

Ведь были же значит и тогда люди.

Утренние эти рюмашки возможно все же сказываются. Надо сосредоточиться, а то получится непонятно. Записываю мысли в порядке поступления.

Ачу Литве

Ачу тем, кто на улице приветливо отвечает, как пройти туда-то и где что находится.

Ачу за то, что никто не напомнил мне, как наши войска перешли их границу в сороковом году.

Ачу поэту Мартинайтису за строки стихотворения:

Как похожа Литва на Литву!..

И никто не сумел истребить

Это литовское сходство.

Сколько войн прокатилось —

все равно уцелело небо,

похожее на Литву.

Ачу женщине, которая сказала мне по-русски: «Всего доброго». А я не сообразил ответить ей: «Ачу».

Кровопролитие в Грузии. Резня в Карабахе. Кровь в Узбекистане. Народные депутаты съезда встают, почитая память погибших.

А Афганистан? А Венгрия 56 года? А Польша 81 года? А Катынь? А самосожжения в Чехословакии, в Литве? Так и стоять депутатам? А забастовки шахтеров?.. Появляются статьи о падении популярности Горбачева. И это верно. Но хочу победы ему. И Сахарову. И Ельцину. И Попову, Шмелеву, Собчаку — реформы рождают людей, способных их осуществлять. Правда, потом придут поколения, которые может быть сметут все. В какую сторону — неизвестно.

«Что это у тебя пьесы какие-то сиротские?» Смотрю — правда, эти — из детдома, та — тоже, у тех неладно с родителями. Просто это больше знакомо. Отсюда у многих потянулось на всю жизнь неуверенность в себе и какая-то прорывающаяся неврастения.

Кстати, и непонимание ничего про это, почти у всех тогда мальчишек. В госпитале медсестра спрашивала: «Так сладкого и не знал?» Многих могли так спросить. А после войны жизнь, как теперь говорят, «за чертой бедности», без прописки в получердаках и полуподвалах (однажды зашел легендарный Назым Хикмет, сказал: «У меня в Турции камера была больше») и борьба с космополитизмом... Вот откуда и стыды за все, что сделано наспех, от усталости, каждый поступок — в ту секунду, когда еще и не подумалось: не надо, зачем! И каждое утро теперь — воспоминания об этих стыдах, кругами, от одного к другому.

А вдруг жить осталось еще долго? Еще целый год? Долго! А вдруг еще пять лет? Долго!..

Вдруг постарел. Это случилось позавчера. Но я даже сразу и не заметил. А сегодня вижу — уже. Неловко в таком виде быть среди людей. Если можно, не приходите без предупреждения. Чтобы я успел сделать вид. И если можно, не звоните по телефону, придется говорить голосом человека, который еще. И хорошо бы больше не работать. Пришлось бы работать, делая вид, что я пока. Давно по правде сказать это началось уже. В войну еще. Вот пить — это я могу, это даже уже помогает. Тогда на время как бы возвращаешься назад, когда еще.

А время стало умней, как раз сейчас. И некоторые оживают и возбужденно смотрят в будущее. А тут как раз и жизнь прошла.

Умер Яша, святой человек. Легко умер, ночью. Моложе меня.

Умер Камил Икрамов. Но — сделав главное в своей жизни, опубликовал повесть об отце, секретаре ЦК Узбекистана, погибшем в лагерях. (Да он и сам. Камил, сначала сидел на коленях у Сталина, потом — тоже в лагерях).

Умер любимый народом, блистательный, закомплексованный Андрюша Миронов.

Умер Даль.

Умер Высоцкий!

Сколько их уже, прекрасных, моложе меня.

Свобода.

Это слово буду писать на отдельной строчке, потому что это важно.

Уехать туда, где тебя никто не знает.

От мстительных, зловещих, которые таят.
Но и от любящих, которые проникают в душу, где неладно.

Свобода

от энергетических вампиров — полная несовместимость,— которые отнимают годы и годы жизни, которые толкают тебя на необдуманные лихорадочные поступки, за которые потом расплата.

Свобода

от всех мнений и оценок, и переоценок, и скидывания со счета.

Свобода

от правых, которым вчера было можно все, и от левых, которым можно все сегодня.

Свобода

от общества, в котором «нельзя жить в обществе и быть свободным от него».

Не знал еще, что останусь несвободен от самого себя, глядящего себе в душу.

Приснился сон. Он (это я) был безалаберный, опустившийся. Ее лицо было скрыто волосами. Они стояли в толпе рядом. Она накрепко привязала его волосы к своим. Он почувствовал это лишь тогда, когда они тронулись. Они катились на чем-то с горы, было весело. К вечеру она подарила ему ботинки, потому что он был бос. Она не знала, что когда-то у него было много друзей и много ботинок. Он и сам не заметил, как оказался бос. Но объяснить ей это уже не было времени. Ей пора было уходить (навсегда). Он вел ее среди многоэтажных кирпичных корпусов, заводских и жилых. Остатки грязного

снега были освещены заревами заводских печей и очагов. Они так и назывались во сне — очаги. На мостовой валялся железный лом. Визжали женщины, горели огнями окна домов — это было одно общее пламя, которое сквозило отовсюду. Она была рада, что он теперь в ботинках. Но она торопилась домой и не понимала, зачем он здесь ее водит. А он прижимал ее руку к груди и знал, что ее здесь уже нет...

Мне надо было идти по делу. А на улице был ливень. Свояченица сказала: «Пусть возьмет зонтик». А жена сказала: «Не надо, он его потеряет».

Протест

Мой сын учится в школе, где преподают французский язык. Не по собственному желанию, а по месту жительства. Им велели выписать газету «Московские новости» на французском языке. А жена, просто ради интереса принялась изучать английский язык, чтобы читать на нем детективы. Таким образом в нашей семье теперь выписывается газета «Московские новости» одновременно на французском и английском языках. На русском же, отечественном, у нас подписаться невозможно. Они же — что хотят, то мне и переводят, а что не считают нужным, то не переводят, ссылаясь на то, что некогда. Получается как бы внутренняя семейная цензура. То есть то, что происходило в недоброй памяти сталинские времена.

Протест 2

Пользуясь тем, что я по временам выпиваю (не становясь подчеркиваю алкоголиком), жена и ее свояченица, верней, моя свояченица, то есть ее сестра, разговаривают со мной развязно, иногда тоном приказания, как например: «Садись. Не туда — сюда. Сейчас я тебе борща налью». В ответ на что я написал плакат и вывесил его на стенке: «Я свободный человек». Однако, даже это не изменило к лучшему сложившуюся ситуацию. Тогда я вывесил другой плакат в завуалированной форме, как бы цитата из Пушкина: «Он в семье своей родной казался девочкой чужой». Однако и это должным образом не повлияло. Поэтому вынужден обратиться к мнению общественности.

Апатия, одиночество, беспричинная тревога.

Вот и писать стало скучно. Разлюбил слова. Деревья сами по себе, а слова, какими их можно бы назвать — сами по себе, где-то. Птицы, оркестранты, женщины, самолеты, самосвалы, партаппарат, голосование — сами по себе, а слова, предназначенные для них — где-то. Поэтому — заключение. Вот, написал «заключение», а в голову ничего не приходит, торможение какое-то. Некогда сочинял нечто вроде полустихов. Попробовать? Интересно, получится?

Попробовал. Вот что получилось:

Проснулся и выпил немного.
Теперь просыпаться и пить.

Дорога простерлась полого.
Недолго осталось идтить.

* * *

Нас времена три раза били,
и способы различны были.
Тридцатые. Парадный срам.
Тех посадили, тех забрили,
загнали в камеры казарм.

Потом война. Сороковые.
Убитые остались там,
а мы, пока еще живые,
все допиваем фронтовые
навек законные сто грамм.

Потом — надежд наивных эра,
шестидесятые года.
Опять глупы, как пионеры,
нельзя и вспомнить без стыда...

Все заново! На пепелище!
Все, что доселе было — прах:
вожди, один другого чище,
хапуга — тот, другой — что взыщешь,
едва держался на ногах.

И вот пришел. И вот ура!
Он хочет правды и добра.
Достоин быть главой народа.
Он просит нас: друзья, пора!
А мы бы рады! Прямо с утра!
Ан нет, не та уже порода.

Усталы, вялы, безразличны
к разоблачениям скандальным,

к починам, местным и столичным,
и переменам кардинальным.

Лет через двадцать, сто пятьсот
быть может дорастет народ.
Но чья звезда взойдет тогда?
Кто нам, иль им, главою будет?
Что он одобрит? Что осудит?
Неведомо. Вот в чем беда.

* * *

Все шло навстречу в эти дни.
Троллейбусы, и те! Они
вмиг подходили к остановке.
Поступки так же все неловки,
тут в лужу сел, там ляпнул чушь,
и сам казнится начал уж,
прощенья по привычке просишь —
в ответ прощенья просят те!
И все в порядке, в небе просинь
и так повсюду и везде.
Стал в очередь за водкой

— и

достал! Последняя бутылка!
А это ангелы мои
следят с хорошею ухмылкой,
пронзая облаков слои.
Так лампочка, читал я где-то,
включенная в электросеть,
вдруг вспыхивает ярким светом,
чтобы потом перегореть.

* * *

В голодном городке на Волге
ждем. Едет первый секретарь.

Запрещена продажа водки.
Торговый сдвинут календарь,
чтобы случайный алкоголик
ему не встретился в пути.
На улицах сегодня голо,
к магазину не подойти.
Тут ждет народ секретаря.
Его поносит трезвым матом.
— Милиция! Скажи понятно,
когда сюда, когда обратно,
чтоб не торчать у лавки зря!..
А разговоры между тем
заходят о советской власти,
а там — сравнение систем,
да и о Сталине отчасти...
Весть — не приедет!

Распахнулось!

Народ взревел.

Земля качнулась.

Ликует очередь. Стою
и славлю родину мою!

* * *

Да что же такое! В больницы ложатся
один за другим, словно снова война.
Холодный январь полостных операций.
Какая карается этим вина?

Иду по январскому снежному залу,
последнего жду над собою суда.
Иду, вспоминаю: меня разрезали,
сшивали и резали снова тогда,
когда я был старше друзей на войну.
Всего на одну.

Друзья мои пересдавали зачеты,
влюблялись в кого-то и пили за что-то
в запущенной послевоенной зиме.
А я в коридорах больничных лежал
под байкой солдатских рябых одеял.
Да что же такое! — так думалось мне.

А это тогда воздавалось судьбой
за все мои вины годов предстоящих.
Живу и брожу среди хлопьев парящих
сегодняшней долгой бессонной зимой.

А вдруг мне недодано было тогда?
Последнего жду над собою суда.

В Сан Хосе

У девушки на майке — «хай».
То есть — привет. А на спине —
«бай», что по-нашему — прощай.
Прошла, на миг став другом мне.

А в супермаркете раскрыты
«Зонты для пеня под дождем».
Забыты вдруг заботы быта,
и не страшит небесный гром.

Самоучитель по улыбкам
нам надобен, страна моя.
Пособие, — как в мире зыбком
сразится с грустью бытия.

* * *

Простите, простите, простите меня!
И я вас прощаю, и я вас прощаю.

Я зла не держу, это вам обещаю.
Но только вы тоже простите меня.

Забудьте, забудьте, забудьте меня!
И я вас забуду, и я вас забуду.
Я вам обещаю, вас помнить не буду,
но только вы тоже, забудьте меня.

Как будто мы жители разных планет.
На вашей планете я не проживаю.
Я вас уважаю, я вас уважаю!
Но я на другой проживаю. Привет!

* * *

Так беспокойно на душе.
Добрее быть, твержу, добрее!
Умнее быть, твержу, умнее!
Но мало времени уже.

* * *

Друзей моей юности нет.
Их годы войны помололи.
Они в поле боя и боли,
а я в поле бега от бед.

* * *

Как города самые западные
похожи на города самые восточные!
В буфетах одинаковые запахи.
Начальство — одинаковое точно.
Какое равенство и единообразие!
Если кто и выделяется, так в точности как
другие.

О любом поймешь после пятой фразы:
склонен к панихидам, или предпочитает
гимны.

Укорочен лозунг Французской революции.
Равенство без свободы и братства.
За одно равенство стоило ли драться?
Равенство напившихся тем, что напьются?
Равенство хитрых и ушлых — ушлым?
Равенство глупых с дураками?
Равенство продавшихся — продавшим души?
Равенство рабов в душе — с рабами?
Равенства не надо. Это лишнее.
Умные, гордитесь неравенством с глупцами.
Честные, дорожите неравенством с подлецами.
Сливы, цените неравенство с вишнями.
Города должны быть непохожие, как люди.
Люди непохожи, как города.
Свобода и братство. Равенства не будет.
Никто. Никому. Не равен. Никогда.

* * *

Солнечным сиянием пронизан,
ветром революции несом,
над землей парит социализм
с получеловеческим лицом.

70-е гг.

* * *

Все разъехались в гости.
Дружно сидят в гостях.
Там произносят тосты,
там подлецов костят.

Ко мне проникают запахи,
бокалов глухие звоны.
Сижу одинокий, запертый
у черного телефона.

Небритый сижу, опущенный,
кручу номера без проку.
Пушкин уехал к Пущину.
Брюсов уехал к Блоку.

Петрарка ушел к Лауре.
Брежнев ушел к Маленкову.
Там пляшут, поют и курят,
там выпьют — нальют по новой...

Бозмолвны восток и запад.
Звони, проклинай, кричи —
я сам себя в доме запер
и сам проглотил ключи.

* * *

Надо следить за своим лицом,
чтоб никто не застал врасплох,
чтоб не понял никто, как плох,
чтоб никто не узнал о том.

Стыдно с таким лицом весной,
грешно, когда небеса сини.
Белые ночи стоят стеной,
белые ночи — черные дни.

Скошенное! Виноват...
Мрачное — не уследил...
Я бы другое взял напрокат,
я б не снимая его носил.

Я никогда не смотрел бы вниз,
скинул бы переживаний груз.
Вы оптимисты? И я оптимист.
Вы веселитесь? И я веселюсь.

* * *

Меня ошибочно любили
златые женщины твои.
Меня случайно не убили
враги твои — враги мои.

Долдонили, меня позоря,
твои начальственные лбы,
что выносить не надо сора
пойми, мол, из чужой избы.

Друзей безмолвно провожаю
и осуждать их не берусь.
Страна моя, изба чужая,
а я с тобою остаюсь.

Твоих успехов череда
не для меня, не для меня.
А для меня твоя война,
а для меня твоя беда.

70-е гг.

* * *

Такая малая страна...
Я не чиновный, не сановный,
но перед ней уже виновный,
хоть это не моя вина.

Наносят мелкие обиды.
Что делать, им стократ больней.
Терплю, не подавая вида,
за грех империи моей.

1982

АЛЕКСАНДР ЩУПЛОВ

О высший дар, бесценная свобода...

Петрарка

Ко мне, мои студенческие лета,
где сон, и свет, и ночи без рассвета,
где сиганув в автобус без билета,
мы мчимся на плавучий островок...
А там каштаном пахнет неустанно,
и не растет ни одного каштана,
и все зовется садом Мандельштама,
и свет кромсает медный мотылек.

Ко мне, мои студенческие духи!
Возьмем под мышку — плащ и ноги — в руки,
и дунем в мир, где властвуют науки
со скарлатинным словом «шарлатан»,
где дошлый разум пахнет, как сутана,
и вырастают карлики с титана,
и все зовется садом Мандельштама,
и голод — не опаска животам.

Ко мне, мои студенческие боги,
родившие бесплодные тревоги,
швырнувшие мне под ноги дороги
в серебряную гущу лозняка,
где скручена жгутом струя фонтана,
и белки декламируют Ростана,
и все зовется садом Мандельштама:
все — до соринки, все — до сквозняка!

Престранное какое совпадение!
Был сад лишен границ, как сновиденье.
Шумели в гнездах, словно в академье
крылатых неизученных наук.
И ворон — черный, бархатный, бессмертный —
мог выузить зрачком простор бесцветный,
и пруд, и мост с числом следов несметным,
несметных встреч, развязок и разлук.

Здесь зайчик солнца, влезший в сумрак синий,
с изнанки покрывал колючий иней.
Здесь лист слетал с ветвей, но между ними
такой же прочной оставалась связь.
Всяк ветерок считал себя циклоном,
под юбки лез к тетрадкам лекционным
и громко похохотывал в лицо нам,
своей необъяснимостью гордясь.

— Он здесь,— я успокаивал мальчишек
со лбами, неотвыкшими от шишек,
с глазами, неотвыкшими от вспышек
лесных гнилушек, молний и плотвы...
— Я слышу топоток его побежки.
Я слышу, как бренчат его застежки,
и слишком уж похожи на насмешки
язвительные шорохи листвы.

— Он здесь! (Да будут следствием причины!)
Он ходит садом выкреста-купчины
и закипают кроны и пучины
мятежному дыханию в ответ.
Я знаю — то его ума проделки,
я чую на себе его гляделки.
И слишком уж ручные эти белки,
и слишком непонятен этот ветр...

— Он здесь: и тополя с дырявой тенью
меня склоняют к этому решенью
(имеющий несчастье быть мишенью
имеет два бессмертья про запас...)
Уж слишком много разности и сходства,
огня и льда, ума и сумасбродства.
И в этом знак — пера его господства
и тирании бледных его глаз.

А если так — пора огонь умерить
и не пытаться ум души уверить,
во что он от рожденья должен верить
по предписанью долга своего!
Равно печальны воды Леты, Стикса.
Равно значенье — «принужден» и «свыкся».
И вечный стимул — неизвестность икса
равновелик известности его.

...Висели птицы в затаенном мраке.
И были ясны радости и страхи.
И обретали истины и враки
обличье веток, листьев, тишины.
И солнце, словно мячик мирозданья,
взмывало из воды без опозданья,
облепленное каплями сиянья
рассыпавшейся огненной волны.

И думал я: «О сладкий дар свободы!
Дитя, объединившее народы!
Как ни страшны твои бывают роды,
но лепет прогоняет темный страх...
А для поэтов жизнь — в неутоленье,
и удивленный свет — в неудивленье,
и лучшие друзья — не в поколенье,
и поколенье — редкий раз в друзьях.

Для них свобода, то есть дух брожения,—
не самоцель, а средство достижения
той цели, у которой выражение
облечено в иного свойства речь.
Ни в Риме, ни в Париже, ни в Лицее
не подошли к определенью цели,
а самые проворные успели
назвать приставку и на корне — лечь.

Влюбленные, евреи, архиреи,
в петлицах — то тюльпаны, то пыреи —
от страсти распались и хирели,
в чертоги превращая закуток.
Они твои черты, Свобода, пели,
и в честь твою над одами корпели.
Но самые проворные успели
бежать твоих объятий наутек.

Ведь каждый знал, оспорив и не споря;
река живуча до впадения в море.
И ежели течение ускорит,
бессмертье обретет, себя сгубя.
Вот почему они жевали груши
и нациям выкраивали души.
А самые проворные, подувши
на пальцы, отхватили для себя...»

Я шел домой, и мне под утро снилось,
что я бегу по городу. И сбилась
на ухо кепка. И на страх и милость
я захожу в нутро метро. И там
Подпрыгивая будто бы в балете,
болтая то о Данте, то о Лете,
в приколотом, как веточка, берете
ко мне спускался мэтр мой — Мандельштам.

Не взятый небесами на поруки,
он поручням дарил по оплеухе.
И свет на наши головы и руки
иголками от лампы отлетал.
Мы под пролетный гром стихи читали
и мой попутчик из далекой дали
надрыв и ложь, как трещины в металле,
ладонью отмечал и отметал.

Мы пальцы от тетрадок отрывали,
гоняли кровь по венам, как трамвай,
глаза на заблужденья закрывали,
все объясняя сутью бытия,
из-под земли на землю выходили,
какие-то законы выводили.
Я провожал его до дома или
он исчезал — и просыпался я.

1974—1977

ГЛЕБ ДЕНИСОВ

ПРОПАЖА

Без укоризны смотришь,— се, я здесь,
— В висок из погреба, в затылок, без обмана,
Что за дела,— как задевает взвесь
Корицы, кофе, черепиц, тумана.

Мне б хмурой зелени еще чуть-чуть,
Еще бы ветхих лиц, чуть вековых усобиц,
И отчих-гордецов, перебежавших путь,
Чтобы кружить не в правилах, в ознобе;

Сколь ладен суррогат, но в якорях
Пологий ветер, знать — к дождю и смене,
Да что ж так просто мне!.. — рцем: на дверях
Госстрах и Хлеб,— и не успеть к Успенью.

И как чурается меня сквозь клен
Ключистый сельский ворот в крике чаек,
И ворон крепостной скрипит в наклон,
И я не вижу, чей там белый ялик.

Я на проспекте имени — изъят
И неминуемо от всех, и все,—
А ртуть текла к Свободе через сад
Кедром путь сугубый именуя.

Июль 1988

* * *

Где ветви вязов — вязкое рыданье,
Где дождь сиротствует в заплатках серых,
От горсти слез, качнувшихся в гортани,
Что не успела отслоить от сферы
Трехсложного, как будто, причитанья,
Очнулась пагуба,— дотоле смута...

Часы песочные причастных листьев:
Высвобождается высокий купол
И, путаницу патины расчистив,
Хрусталик что-то ищет, ищет в купах
И бредит дальше,— где твердить устали
Что на губах уже не гибнут губы...

Где фонари, утопленные в нишах
Сырой воды, нам заменившей воздух,
Бегут во мгле, дробясь, робея,— слыша,
Как вал ломится в лиственной коросте
И тает ось — там, под стеклянной крышей,
Стою и я и, потрясенный, каюсь.

1987

**Проходя мимо Черного собора
заметил в нише каменных старца
и жабу на его груди**

Под черную стеной, вонзенной в век,
Пронзительно легко и молчаливо
Ничья плита меня подводит К
подножию,— а также вновь, на диво.

Плашмя и вовремя,— а крестный сон,
А тяга вглубь, а падающей шапки

Пол-спиля взору, голо-с-с-колесо,—
Ни голубиный тот, ни этот, шаткий;

Щекою ближе я — он в-высь-и-в-весь,
Шороховатость в зернах; коло-с-с бури,
Но более всего — скупая весть,
И от величия отказ в лазури.

Я не смутился жабой в нише на
Груди спокойного в граните под костелом,
Латынь впивалась в кость, а тишина
Прощалась всем невольно осененным.

17 августа 1988

VI—VIII Триада

1. Небо. Погружение

Как осторожно мы разбрасываем снег,
И смотрим в проруби постылое окно,
Где рыба бьет хвостом, бьет перед сном
И робким пузырьком блуждает забытье.

Ты — за спиной — что дом, разбуженный, на
дне,
Вот лопнул всплывший — тихо: здесь звенит
твой брат,
Ребристый воздух, — жжет и нежит
углекислый лед,
И город больно колок, ладен, угловат;

Нет, уклонюсь от нот, — все больше вглубь,
на слух,
Дичусь, целуя деку, и таюсь — плечом,

Что — в партитуре хруст,— как много белых
мух,
Что валит лес подстрочный, лезет за ключом?

Но слишком глубоко на склоне,— тянет, о-о-о,
От белых пятен, в ворсе, спекшихся, в узлах,
На поле — кривизна, и в горле груз, знаком,
И свит воздушный столб, но — все не то... —
в глазах.

Со льдинкой облака, защелкнутою,— грусть,
В простудах, детское, ждет небо на краю,
И — в свисте навзничь падаю, ложусь,—
...Дикарский, лекарский... но больше не играю.

Январь 1989

2. Верп

Я к снегу припаян — куда ж... не сейчас! —
вырастать —
Червленной башенкой, шпилькой, со стрелкою
в лимбе соосном,
Мой голод в олимпе — твоя несуразная статья,
Твой гул — горький нимб световой,
взбродивший на корках и соснах.

С тоской високосною слушаю: высится лед,
Пришпилен, но будто все падаю — с лобной
ли горки, в колодец ль,
— «цк» — окнула рыба, скользнув,— жаль,
звякает цепь-эхолот,
И цель, как мелодия, тает: ворсиночка —
тельце-Уродец...

Из ниши я волен бубнить — как глубокий твой
трохей,
Как кратко и ладанно дышим и хмуримся
в-прочь с колоколен,
А город — щепотка, припев... эх, ахейский
союзный трофей,
Совсем почерневший без бури, как лунное
днище, в расколе.

Давай же поищем, как в шерсти, бездомный
мотив,—
Сушумну,— ту хилую змейку бездумной
искусной работы,
Вот только бы ноту — и хлынет, подхватишь
ли? — тиф
Сказать — интер-людей,— и в комнату нас
отнесут,— за субботу...

О небо, с тобою б и дальше — не смея —
к виску бы висок,
И полниться опытом дарственным, боль
оттирая в колена,
Мы вспомним, что время волнисто, как сон,
попугайчик, песок,—
И выберем якорь, по вкусу, как гостя,
в полипах и пене.

...Припомним ли формулу: «падая в бездну
души,
Сей город разбился о камни; ужели же,
воздух — и выпит,
Лишь скрип порыжелый, и сельский
вертепчик дрожит.
И все еще длится за створкою Отдых
и Бегство в Египет.

Январь 1989

В сырой поленнице дрова,
Не скоро — холод,
Взошла забвения трава,
И сад — не полот.

И для кого же он цветет,
Судьбу пророчит?
Для той, что больше не придет,
Для белой ночи.

А было, только звук сапог,
Лицо, и плечи —
И сад со всех срывался ног
Ему навстречу.

Наперебой, избытком сил,
И врозь, и вместе,
И он лишь руки разводил
От этой вести.

А сколько в этот год дано
Деревьям, травам!
Дорогу в прошлое его
Убрали в саван.

Она начнется у ворот,
От плитки — серой,
И будет вечный небосвод,
Но больше — стены.

И шорох в комнате пустой,
В притихшем доме,
И запоздалое «постой»
В дверном проеме.

1985

МИХАИЛ ЯСНОВ

ПРОЩАНИЕ С КОЛОМНОЙ

(Импровизация)

Спущены деньги —
корабль отправляется в плавание.
Бутылка с шампанским разбита —
не сдать посуду.
Ветер гудит во дворе —
надувает парус
окна.

Четырнадцать метров квадратных —
немного для подвигов ратных,
но вдосталь для неприметных
трудов кабинетных.

И все-таки повезло мне
полжизни прожить в Коломне!
Там нитками из шкатулки
торчат мои переулки —
Калинкин, Прядильный, Климов,
и, крыши до блеска вымыв,
дожди ниспадают пряжей
на уличный шум бродяжий.

О, рукоделье города,
где иглы спилей воткнуты в подушку ватных
туч,
где на решетках тучные русалки,

а рядом с ними — волны, точно прялки;
где все прядут, и ткут, и красят, и кроют
наряд,
приметывая, чтобы стали впору,
оборки пышные Никольскому собору,
прикидывая стежки, строчки
и позумент для оторочки...
И пока глядятся в воду,
недоверия полны,
продает туман восходу
купола из-под полы.

Будь щедрым, покровитель моряков!
Вся в полых мачтах каменных дворов,
вдыхая илапряного наркоз,
бросая бризу крыши на поживу,
Коломна, заостренная, как нос
фрегата, устремляется к заливу.
И целый город тянется за ней
на запах неизведанных морей.

Слава богу, не погиб в трясине
прорубавший просеки Трезини!
Лес лежал, повернутый изнанкой
к небу, между Мойкой и Фонтанкой,
чтоб очнуться в недрах лесопилен,
надышаться влагою морской...
Я судьбою, как скобой, пришпилен
к жизни деревянной, слободской.

Пока парадный город пировал,
здесь правили Мансарда и Подвал.
Пока проспекты важные меняли
названия в угоду временам,
здесь улочки украдкой сохраняли
привязанность к рабочим именам.

Здесь лоцманы, солдаты, канониры
и все мастеровые анонимы
вгрызались в топь и в лед.

Я целый год
в подвале жил, пока
наш дом стоял на капремонте.
О, сырости осклизлые бока!
Зажгите свет и троньте
рукою стену — кажется, к руке
прилипнут имена, возникнут лица...
Я помню убежавших налегке
вас, многоножки, пауки, мокрицы.
Пока скользила по стене рука,
я словно прорывался сквозь века,
чтоб в комнату вомчаться на пределе
и вынырнуть на уровне панели.

Я у окна стоял часами,
а за окном, под парусами
лихих капроновых чулок,
скользили лодочки и боты —
там шли работницы с работы,
и утлой туфельки челнок
вдруг подлетал, не чуя ног.
Кипела жизнь на тротуаре,
а я стоял в своем угаре
и, одурев от этих бот,
качался, как корабль на рейде,
еще не ведая о Фрейде —
уж мне поклонялся бы тот!
Но, впрочем, это эпизод.

Еще один — лет через десять. Мой приятель
учился в «Корабелке» и снимал
мансарду. У него по вечерам

мы собирались. К нам
заглядывали две подружки из текстильного,
и столько было в них наивного, но стильного!
Мы танцевали, а потом
все вчетвером
через окошко вылезали
на крышу.

Перед нами
Коломна, погруженная во мрак,
светила фонарями кое-как.
Доходные дома вздымали крыши,
боками придавив особняки.
А выше
лишь дыхание реки
текло навстречу бурным, плотным светом,
антенны были сбиты вкривь и вкось,
как будто вновь, восстав над парашетом,
Невы державное течение
не выдержало заточенья
и к нам на крышу пролилось!
Теперь я думаю: как жизнь головоломна!
Но даже в наши времена
так получилось, что Коломна
своим пристрастиям верна.
И вновь, безудержны и громки,
сходились в сумерках ночных
мы — представители, потомки
ее профессий коренных.
И неспроста мой корабел
в житейских бурях не робел,
а две текстильщицы, две пряжи,
латали наспех нам рубахи,
устроивали быт и дом...
Но я-то, я-то здесь при чем?

Притом!

Я такой же, таковский —
сквозь время петляет мой след.
Коломенский житель Жуковский
мне шлет через бездну привет.
Прощайте, подвал и мансарда,
гранит, и чугун, и металл!
Курчавую тень Александра
впервые я здесь увидал.
А все же душа неумна
и гонит кочующий стих.
Как много осталось, Коломна,
в несметных твоих кладовых!

И сфинксы на Египетском мосту
молчат, как часовые на посту.

Фуга летнему саду

А. Кутерницкому

Летний сад по ночам
превращается в остров, каким он задуман,
и там,
между Мойкой, Фонтанкой, Невой
и Лебяжьей Канавкой,
как в кармане, который застегнут булавкой,
где во тьму с головой
окунается майская флора и райская фауна,
будто время сместилось, и в черный попала
провал она,
может быть, оказавшись на время в Сосновой
Поляне, в Коломне ли,
где ночные зеваки ее увидали и вспомнили
о небесных краях,—

как в кармане, под ветхой подкладкой,
впотьмах
обнаружив дыру,
ты скользишь по аллее, покуда хвостами
павлиньими
с голубыми глазками пробившихся звезд
наклоняются кроны, а древние боги
с богинями —
ритуал еженощен и прост! —
учиняют игру,
появляясь из мрака, белея телами
внезапными,
точно те фейерверки, что тихими залпами
освещали над этими кущами первые восходы
этой странной, нездешней, ночной,
непонятной природы.

Летний сад по ночам
с замеревшими птицами, замершими листьями,
расширяющийся, подобно лучам
запредельной подсветки, пропадающих
в черной яме
неподвижных небес,
одновременно похожий на лес
и пустыню, в которой по красным песчаным
барханам
ты ступаешь, как будто не ведая тысяч
следов,
ты, единственный в мире багряном,
в инфракрасном его одеянии, скроенном
теплой подсветкой,—
этот Сад полуночных садов,
где под каждую веткой
мир двоится, становится маленьким садом,
и вот

по его бесконечной пустыне, двоясь и троясь,
одиноким прохожим бредет:

сад его пропускает,
его отпускает,
как песчинку, сквозь пальцы его просыпает,
нежно гладит проснувшимся бризом его по
плечам.

Летний сад по ночам,
он исхожен милицией и охраной,
ну а ты, гость ночных сторожей, заглянувший
на час
в невозможное, ты, не сводящий
восторженных глаз
с Непонятной, Нездешней и Странной,
ты, следящий, как в сад заползает туман,
выворачивая наизнанку его, как карман,
где под ветхой подкладкой,
алея,
скопился песок,
ты, песчинкой скользнувший по гладкой
аллее,
вынося этот мир на плечах, как богиню, во
тьме яснолицую,
ты уходишь, сгибаясь под бременем,— и
берет, улыбаясь, милиция
под козырек.

Корни

Чем к старости ближе, тем ближе к земле.
В глине, в золе
мамины пальцы корнями корявыми стали,
мамины пальцы в железный суглинок
врастали,

рыли, рыхлили, пололи,
корчась от боли,
сад свой растили, свой крохотный огород.
И вот —
в каждый сырой уголок ленинградской
студеной земли
десять апостолов веру свою разнесли.
Десять апостолов, каждый навьючен годами,
шли неспеша, отдыхая в какой-нибудь яме
между корней, корешков, корневищ,
пробираясь неведомой тропкой в кореньях.
Мама моя огородница медленно шла на
коленях
следом за ними, пока
десять апостолов шли вдоль стены сорняка —
рыли, рыхлили, пололи, подгнившие листья
срывали,
шли, а в земле созревали
скудные северные плоды: лук, петрушка,
редиска да свекла...
На коленях у мамы холщовая юбка
промокла —
долгий путь вдоль забора с гряды на гряды.
Я за нею пройду —
ни соринки в земле не замечу: только то, что
цветет, плодоносит, готовится пищу родить.
Ус клубники, как цепкая нить,
в землю корни пускает, укроп поднимает
головки.
Сколько нужно уменья, терпенья, сноровки,
чтоб до каждой горстинки земли донести эту
веру и труд!
Десять апостолов под рукомоёйником чистят
и трут

все свои трещинки, ранки, морщинки, мозоли,
корчась от боли,
на́ пять минут забывая про сад, вертоград,
огород.

И вот —

как приникают к прозрачному срезу ствола
черенки,
вдруг приникают они к одеялу и к простыне
и, как щенки,
вздрагивают во сне.

НИКОЛАЙ ЯКИМЧУК

КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ

Ветреная долина просыпáлась. А мука снега — просыпалась. Снег шел неотвязный, засыпал брови. Болело плечо. Настроение напоминало жизнь в пещере. Воздух вздыхал и плакал. Замерзли руки. Птицы обходились малым. Десять негрятят шли напряженно, держась друг за друга.

Сан Саныч был безутешен — его снимали. Сан Саныч лысел и его обходили стороной женщины. Сан Саныч бросал курить; его кабинет умощался окурками.

Писатель смотрел в окно и пил кирпичный чай. Писатель видел Сан Саныча со спины — он был похож на раскормленного негретенка. От писателя полчаса назад ушла жена и он подумал, что придется заводить любовницу.

Сан Саныч заведовал электрической частью мукомольного концерна. У него в подчинении была (в том числе) секретарша Рита. Рыжеволосая солнечная красотка. Иногда Сан Саныч рисковал переспать с ней. Иногда у него это не получалось.

Писатель смотрел на небо. Он думал о несовершенстве бытия. Он увидел ангелов. Они парили, неотличимые от снега.

Сан Саныч пришел на остановку. Но в троллейбус не сел. Его ожидал, чихая, пер-

сональный автомобиль. Пока ожидал. Но уже чихая.

Писатель услышал, что в прихожей верещит телефон. Он не хотел вставать. Летали ангелы и снег. Это было красиво. Редкая минута.

Сан Саныч залез в кабину, отщелкнул замок «дипломата», предложил шоферу распить коньяк. Тот отказался. Тогда Сан Саныч хлопнул двести пятьдесят самостоятельно, а водителю предложил бутерброд, нет, два бутерброда: с черной и красной икрой.

Писатель еще краем глаза следил за толстым негритенком, вползающим в черную «Волгу», но уже принял решение подойти к телефону.

Сан Саныч слегка отмяк и оттаял, мысли затушевались и стушевались. Темные образы, роившиеся в мозгу его, отправились в ссылку.

Шофер молчал, перекатывая языком несъеденную икринку. Змеилась «баранка». Пешеходы не досаждали. Других мыслей не было.

Писатель вдвинулся в прихожую. Телефон просто сошел с ума. Над ним сверкала белокочанной улыбкой итальянка Клаудиа. Там же проступал ее автограф. Он был абсолютно подлинный. Писатель взял в руки трубку, взглянул в дальнее окно кухни, ангелов не было, снег устал (перестал).

Сан Саныч еще ехал на персоналке, еще тело его влачило с шиком. Но перспектив не было. Он уже все развалил. Действие коньяка проходило. Муторные мысли возвращались из дальних лагерей.

Шофер блестел кожей. Чужая кожа была

надета поверх своей. Пил он редко и был молчалив. Это ценилось. Бутерброды принимал без энтузиазма, сдержанно.

Писатель сказал — слушаю. Да слушаю же! Разговаривать не хотелось ни с кем. Было неинтересно. Было скучно. Хотелось смотреть на ангелов. Хотелось белого снега. Хотелось дышать полной грудью. Разговор стеснял.

Рита названивала своему любовнику. Требовательно, как отдавалась. Он ушел от нее сегодня утром, оставив записку: расстанемся навеки, как прохожие. Ссоры ссорами, но нельзя же так сразу.

Сан Саныч хлопнул еще двести граммов, но бутерброды иссякли. Надо было шоферу не давать. Сан Саныч разозлился на себя недалновидного. К тому же он вспотел.

Писатель услышал захлебывающийся женский голос. Но довольно приятный. Писатель слушал мольбы женщины, чей голос прочитывался, как родной. Голос настаивал, чтобы он вернулся. Писатель не знал, куда его приглашают.

Рита рассказывала историю ИХ отношений. Она когда-то провалила в театральный. Оставалось играть свои роли в жизни. Она была способная женщина. Страстно мотался телефонный шнур. Рита темпераментно жестикулировала. Ее чувственный рот был прекрасен. Ее рассказ банален.

Минут семь писатель слушал ее не прерывая. Устал стоять и сел в кресло. История ИХ отношений была узнаваемой. Он захотел встретиться с этой женщиной. Когда Рита остановилась отдохнуть, он назвал себя и попросил выслушать.

Сан Саныч уже подкатывал к дому на набережной в дурнейшем расположении духа. Морщины на его лбу образовали рисунок, который мог прочитываться посетителем авангардных выставок, как кукиш. Предстояло лезть вверх к начальству.

Шофер случайно раздавил-таки икринку. Кардан что-то барахлил. Вот бы белугу или осетра когда-нибудь подловить. Но в столице они не водятся. Три-четыре бутерброда оставил бы себе, остальное на продажу.

Рита слушала писателя. Во-первых, она уже слышала где-то его имя. Во-вторых, он мелькал пару раз по телевизору, членом высокопозволенного жюри. Рита подумала, что хорошо бы стать его любовницей. А там и до знания жены можно дослужиться. Чем черт не шутит! А после уже пригрезилась ей слова: парижы, мадриды, и почему-то еще одно, как ей казалось, загадочно-непереводимое: галапогосы.

Сан Саныч с тупым сердцем проскользнул в Гулавк. Зеркала издевались над его раскормленным полым телом. Сан Саныч вспомнил детство в волжской степи, вспомнил, как поливал вишни, и ему захотелось плакать. Но при швейцарах и лифтерах это не положено. Сан Саныч дребезжал наверх, а в мозгу стучало неприличное древне-китайское слово, как его, «гулгофа».

Писатель вдохновился. Голос Риты его согрел. Ангелы отлетели окончательно. Он не обольщался. Клаудиа была свежа и ослепительна. Писатель пригласил Риту вечером в гости. Та конкретно согласилась.

Шофер бесцельно ожидал в кабине. Пова-

лил густой младенческий снег. Мотор остывал. В глазах искрились осетры. Тепло существования никогда его не покидало; шофер умел жить.

Рита, взволнованная своим, не отдала своего удивления писателю. Этот возникший сюжет напоминал ей кино. Она слушала писателя, сидя в горячей пенной воде. Ванна, обросшая голубым кафелем, вот ее настоящий дом. Вода давала тепло и надежды на будущее. Древняя стихия.

Сан Саныч всосался в кабинет секретарши босса. Его окликнул зеленоперый попугай из золоченой клетки. Сан Саныч кисло ему подмигнул. Секретарша зияла перманентом. Обитая малиновым дермантином дверь внушала опасность. Портрет председателя мукомольного концерна висел чуть косо. Салатные занавески рассказывали, что прошлое было прекрасным. Сан Саныч вспомнил закрытый пляж в Пицунде и затосковал. Ему захотелось сбросить лет двадцать и переплыть Босфор и Дарданеллы.

Писатель положил телефонную трубку на рычаг. Вспомнил о своей жене. Представил раскосые капли ромашек и жену — убегающую в сторону заката. Пыльное солнце почти не жгло. Болело плечо. Женщина убегала в сторону горизонта. Хотелось пить. Птицы клевали небосвод. Свобода разлилась по телу. Женщина исчезала навсегда.

Шофер прислушивался к автомобилю, как первопроходец к затухающему вулкану. Было совсем пустынно и тихо в переулке. Дома в стиле модерн нависали, но шофер не знал об этом. Он видел только асфальт. Он не за-

дирал голову к небесам. Он жил покойно и привычно, как сигаретку раскуривал. Сигареток было несчетное бесконечное множество. И стоили они довольно дешево. Сизый дымок пытался выбраться из кабины — утекал. Шофер смотрел прямо перед собой хорошими летними глазами. Навстречу его взгляду, напряженно держась за руки, шествовали десять негрятят.

Сан Саныч приоткрыл сановную дверь и просунул в щель свой живот. Потом последовала голова, а затем уже портфель и все остальное. Сан Саныч не случайно выставил вперед живот. Это было его самое сильное место. Это был символ благополучия и солидности. Живот Сан Саныча производил большое очень впечатление на всех без исключения. Сан Саныч знал об этом и гордился по праву.

Рита несколько пришла в себя, но ни о чем не пожалела. Открывались новые золотистые перспективы. Радужно искрил душ. Рита посмотрела на себя в зеркало и подмигнула своему отражению. Зеркало понимало женщину. Рита не помнила лица писателя. Ей хотелось, чтобы он выглядел жгучим брюнетом. Раздражал текущий кран. Уж кран он во всяком случае не исправит. Брюнеты не занимаютя протечками. Они жгут глазами.

Сан Саныч едва смог выйти обратно в сторону попугая. Все доверительные предчувствия подтвердились. Его снимали через две недели — готовилось постановление. Попугай повернулся к Сан Санычу задом. Секретарша отсутствовала. Сан Саныч начал воровато набирать номер телефона Риты.

Писатель вернулся на кухню. В батареях отопления гудела вода. По радио объявили антициклон. В холодильнике обнаружались крабы, икра, шампанское. Писатель вспомнил, что не написал главной книги. Ничего еще не рассказал о себе. Писал о прогрессе и новейших технологиях. Комментировал развитие общества. Рассказывал о деревне, в которой бывал наездами. Критики утверждали, что ему удаются народные характеры. Особенно женские. Писатель не спорил — ему за это платили. Но главная книга лежала ненаписанной. Может быть где-то на полпути между небом и землей. Отсюда — пристальный интерес к ангелам.

Рита выдернулась из ванной, молодой козочкой прыгнула в туфли. Мягкие, красные, импортные. Призывно мерцала на трех легких полочках косметика. Рита принялась сочинять вечернее лицо. Она хотела бы выглядеть инопланетянкой. Посмотрим, посмотрим — что там имеется в фондах. Обещал же Сан Саныч парижский дезик, зажал подлец! Вот теперь и приходится додавливать вьетнамский. Все-таки, наверное, он брונет. К его бархатным глазам я надену вечернее, ресторанное. Ее четкие, уверенные движения осеяло слово «галапогосы».

Шофер прикрыл веки и увидел коричневую купюру. Сотенную. Смотрел на нее не отрываясь. За стеклом процокала лошадь. Автомобиль передавал остатки набеганного тепла человеку. Рассмотрев одну сторону банкноты, шофер, усилием воли, перевернул ее. Зрелище было необыкновенно притягательным.

Сан Саныч услышал голос Риты. Сейчас самое время к ней на часок. Отмякнуть душой. У Сан Саныча кончались силы и воля. Угасало самолюбие. Он чрезвычайно потел. Хотелось все послать куда-нибудь. Лишась места, Сан Саныч выглядел очень несимпатично. Перемигивались бисеринки пота на его обширном лбу. Рита отказалась его принять. «Уж если ты разлюбишь — так теперь». Он вспомнил, что у него пропало два билета на Пугачеву. Лифтер, кативший Сан Саныча вниз, казалось, молча, сцепя зубы, издевался. Это был прощальный спуск. Между вторым и третьим этажом во рту у Сан Саныча похолодело, а потом сделалось дурно. На выходе из офиса Сан Санычу отдали честь десять независимых негритят.

Рита в ту же секунду позабыла о Сан Саныче. Он никогда не был героем ее романа. Он вообще никогда не был. Он обнимал ее жизнь начальником. Теперь же она свяжет свое тело с модным писателем. Хорошо бы с брюнетом. Рита вспомнила свою первую любовь — простого цыгана, неподдельного брюнета. Был тот бесшабашен и удачлив. Расстался с Ритой легко, а та проплакала весь месяц.

Шофер услышал, как скрипит неохотно дверца. Плюхнулось тело. Шофер открыл глаза. От Сан Саныча пахло присутственным местом. Сан Саныч сидел, удерживая голову прямо и смотрел на крупно летящий снег безучастно. Сан Саныч едва шевельнул рукой, и шофер понял, что следует отправляться в сторону дома. Тут же он включил «дворники», взглянул в боковое зеркало, тронул ма-

шину, как трогают коня. Шофер посмотрел на Сан Саныча и позавидовал самому себе, что не числится начальником. Скорость выветривала застоявшиеся мысли и бодрила; скорость была самым общедоступным и демократическим состоянием.

Уж гас город дневной, а с ним и долина — но огни возжигались повсюду. Дышал полной грудью ветер. Насморк одолевал. Болела нога. Негритята несколько подустали. Птицы совсем умолкли. Наступал час осмысления жизни.

Писатель рассматривал часы. Стрелки приближались к заветным цифрам. Писатель надел шведский костюм с необыкновенно блестящей платиновой ниткой. Это было безвкусно, но нравилось женщинам. Не всем, конечно, но тем, кто окружал писателя. Он взглянул в окно. Тишина бегущего снега завораживала. Громко тенькали часы с кукушкой. Холодильник бормотал что-то неразборчивое. Писатель вышел в прихожую и присел на диван голубой обивки. Мысли его были необыкновенно легки и приятны. Шелк охлаждал и волновал руку.

Сан Саныч как бы дремал, но абсолютно вовремя понял, что ему пора выбираться на воздух — к дому. Заскользили тормоза. Сан Саныч сказал шоферу «будь», и, набычившись, двинулся сквозь снегопад. Впереди мелькнуло рыжее солнце. Сан Саныч взгляделся попристальнее. Он различил шубку из шиниллы, привезенную в подарок Рите из Южной Америки. Сан Саныч оглянулся: метрах в пятидесяти от него, нахмурившись, следовали десять негрятят.

Рита мчалась в ритме снегопада. Ах, какие перспективы сулил новорожденный снег. Какие чистые листы открывались. Наворачивалось белое счастье. Как шубка ласково и легко обнимала ее. Как хотелось брюнета! Как воздушно было в головке Риты, и легко, без усилий, перемещалось там слово «галопогосы». Вот и искомый дом. Вошла в лифт. Достала маленькое зеркальце. Рита была неотразима.

Писатель был рыжим, но удачливым. Он притягивал удачу, как молнию. Дела его шли в гору, последние десять лет он ничего принципиально нового не написал. До прихода женщины оставалось минут пять. В туалете журчала вода. Радио молчало. Из кухни валил пар — кипел чайник. Писатель ухватился за выключатель плиты, в это время позвонили дважды в дверь.

Сан Саныч, уже ничего не соображая, припустил за Ритой. Сопел одышливо. Пробежка отвлекла его от бранных мыслей. Чертовка Рита присматривалась к номерам домов. Сан Саныч углядел, как она неколебимо вошла в подъезд. Если бы на секунду задумался Сан Саныч, то осознал, что первый раз в своей жизни преследует женщину.

Рита неуклонно поднималась, вымахивая длинными ногами. Лестница была серой и заплыванной, мокрой от таявшего снега. Рите казалось, что из-под сапожек брызжут бриллианты.

Сан Саныч, выбиваясь из сил, бежал. Ступеньки лестницы мелькали, как крапленные карты. Сан Саныч вспомнил Мохаммеда Али, великого боксера. Сейчас бы и он мог послать американца в нокаут. Сан Саныч увидел, как

Рита с солнценосной улыбкой тянет мизинчик к кнопке звонка.

Писатель мельком глянул в зеркало. Подтянул брюки и пошел в прихожую. Клаудиа ободряющее улыбалась — преданная женщина. В туалете громко журчала вода.

Прошу, сказал писатель. Он отступил в сторону и пропустил женщину. Писатель обрадовался, что не ошибся в выборе. Улыбка счастья порхала на его губах.

Рита не успела разочароваться. Пусть не брюнет, но ведь знаменит. Удобная большая прихожая. А это еще что за портрет какой-то.....?

Писатель не успел захлопнуть дверь. Он еще любовался лакомой Ритой. Оглянулся и увидел в проеме толстого, всклочоченного человека с выпученными глазами, похожего на турнепс.

Рита тоже оглянулась. Она увидела Сан Саныча. Она вскрикнула. Она ойкнула. Она округлила глаза и они стали у нее выпуклыми и большими.

Сан Саныч протопал еще четыре шага по прихожей и остановился. Как зачуханый паровоз. Как среброкрылый лайнер после посадки.

Так и стояли они втроем и смотрели друг на друга — как картинки с выставки. А в дверь уже с любопытством заглядывали первые посетители — десять негрятят.

Разговор с Бабелем

Я проходил по городу, которого не знал. На ратушной (радужной? радушной? равно-

душной) площади меня ожидал Исаак Бабель. Конноармеец, как утверждали некоторые.

— Как дела, Исаак? — спросил я, робея и наглея, чтобы хоть что-то сказать.

— «Конармия» выходит в местном издательстве. На местном языке.

Бабель был усталый, пыльный. Города этого я не знал. Мне было приятно встретить на эстонской земле писателя из Одессы.

— Я тоже пишу, — сказал я.

— Почему? — спросил он.

— Не знаю, — ответил я. — Когда набродишься по городу, которого не знаешь, всегда тянет к листу бумаги...

— Но вас же не напечатают, — сказал Бабель.

— Еще бы, — откликнулся я. — В этом-то все и дело! Вечное движение! Я пишу, а меня не издают...

— А меня расстреляли, — сказал Бабель. — Кто-то болтал, что я отстреливался, так это вранье. Просто пришли и взяли.

— А я вот все брожу по этому незнакомому городу. Другие люди, другая жизнь.

Мы помолчали. Каждый о своем.

— Зачем-то все-таки печатают «Конармию» на местном языке, — удивленно проговорил Бабель. — Но меня это не радует уже почему-то.

— В чужом городе, — продолжал я свое, — как-то надо разоружить тоску, неприкаянность, вот и кропаю, графоманю по-маленьку...

— А знаете, — вдруг улыбнулся Бабель, — мне нравится этот город. Вообще я люблю города, которые не знаю.

— А мне нравится Ваша «Конармия», вообще Одесса, юг...

— Давайте я возьму Ваше имя,— сказал Бабель,— и этот город, и Вашу неприкаянность, и Ваши графоманские листы, и создам об этом городе, об этой стране первоклассную прозу.

— А я? — спросил Я. — Что же останется на мою долю? Ведь я только и умею, что бродить с ностальгией в сердце по городам, которых не знаю...

— А Вы не тушуйтесь, я отдам Вам мою славу, мой стиль; мою позднюю славу и мой отточенный стиль... Берите, берите все, имя берите...

— А смерть? — спросил я.

Он озадаченно умолк.

— Без смерти это будет нечестно,— подвел черту я,— а на меньшее я не согласен.

15 февраля, 1988 г.

Таллинн

ЕЛЕНА УШАКОВА

* * *

Вчера еще шли по аллее Летнего сада.
Выяснилось, что Вертумн и Помона — муж
и жена.
«Из одного профсоюза!» — обрадовалась я, —
с досадой
Шутливой ты тащил меня за руку — не тем,
мол, поражена,

Не резон и нам не пример! Как легко
дышала,
Дула прямо в сердце желтокрылая сырость,
холодок
Не предвещал ничего дурного, осенний,
шалый,
И вот — ангина, дурочки-ртути хитрый
удлиненный глазок.

Только радость, только радость может быть
разделенной!
Боль разъединяет, какая бы ни была.
Бессонное, тяжелое плаванье, все натыкаюсь
на мутно-зеленый
Абажур, и знаю, что желтый, увидела б, если
б могла

Соломенные прядки распущенного и узором
сплетенного каната,
Вечером над лампой светились — курчавый
солнечный стог!

Но жизнь захлебнулась, подводное царство
жутковато:
Бутылочная тьма, пятнистая, мокрый слепой
говорок.

Уходи, уйди, отворачиваюсь, лучше разлука!
По всем вещам мечутся глаза, перебирая,
о подойди!
Ах, и ты, и ты — недружественный предмет,
неподвижная мука!
Шнур, умоляю, шнур, прошу, выдерни из
сети...

Все разумное, сладкий плод усилий
совместных,
Выставило твердую оболочку, футляр,
прекратило связь...
Мне, Помона, страшно, одиноко и тесно,
Как тебе, наверно, в зимний деревянный
шкафчик становясь.

* * *

Лучше спущусь в лифте, чтобы не проходить
лишний раз мимо
Заклеенной бумажным прямоугольником,
с печатью, квартиры,
Забыла ее номер, по Фрейдю, видением
настойчивым теребима,
Забыла, потому что хотела забыть. Половичок
перед дверью, помню, застиран.

Я столкнулась с этой женщиной, выходя из
дома, у самой парадной,
Она гуляла с собакой; «здравствуйте»
громкое, неформальное,

Поскольку мы не были знакомы,
предупредило: что-то неладно,
И я заглянула невольно в лицо, пробегая,
печальное.

Оно было каким-то несобраным и
свидетельствовало об отказе
От борьбы, рассеянное, не способное оказать
отпора,
В отличие от обычных лиц, а я обходила
лужу, избегая на сапогах грязи,
Но что я могла сказать, сделать? Тут нет
основания для укора.

Вид неблагополучия слишком знаком... Но
вот уже странно закрыта,
Запечатана дверь. Как рассказали
всезнающие соседи,
Похоронив мужа, она бросилась с моста
Лейтенанта Шмидта
В ледяную осеннюю воду; сюжет для
небольшой трагедии.

Одни считают, что самоубийство — слабости
признак,
Другие — что, наоборот, — силы,
Религия осуждает, наши предки не справляли
печальной тризны
В этих случаях и на кладбище не давали
места для могилы.

Я думаю, что самоубийство — самый
вынужденный вид смерти.
Умирая в болезни, мы как бы даем свое
согласие, хоть отчасти,

Предоставить желающим крылья, и сами
Муляжи речевые, где совесть, где стыд? —
парят,
никакого.

Но какая особая радость влюбленная, да! —
Поделить ее, сладкую, липкую, на аккуратные
части,
Тататата, тата, но чудесней, пожалуй, когда
Безударное скачет в словах быстрого
счастье,
О деленьях не ведающее, как будто не стоит
труда,
Только мысль, только слово под током
горячей страсти.

Стихотворная мерная речь, ее нежный
искусственный строй...
Все знакомы мотивы, я их узнаю с полуслова,
Это — Тютчев, вот — Анненский, слышу,
а это... постой...
Пастернак, только поздний. Обычная ж речь
не сурова,
Не грустна, не безумна в квартире своей
типовой,
Приключениями не богата, «ну, как
поживаешь?» — «фигово».

Ему хочется высказать, «выплеснуть», как он
сказал,
Свои глупые мысли докучливые и прямые
заботы:
Сдать бутылки, счета оплатить, на
Московский вокзал
Одним глазом взглянул из автобуса — «где уж
там, что ты?»

О, как нужен тогда точный стих — кофеин,
барбитал!
Как легко с его помощью сводятся мелкие
счеты!

* * *

И когда этот междугородный звонок
расстрелял тишину,
Из какой-то невидимой точки пространства,
сжав трубку в руке,
Я настигла свой дом и себя на шестом этаже,
и как будто смахнув
Двери, окна и стены, парижский сквозняк
прикоснулся, лизнув по щеке.

Острый, яркий, жуком
пролетевший, упущенный миг!
То ли милой привычке поддавшись твоими
глазами смотреть...
То ли души способны на сверхскоростные
полеты и времени сдвиг,—
Если одновременно рванутся, все сорваны
петли, распахнута клеть!

Как мы в юности долгой (дожизненной,
кажется) тщимся понять,
Разрешить все задачки и бьемся бритоголовым
умом
О пространство, о время, о славу, о смерть
и любовь — где тетрадь
Разлинованная, чтобы суть занести
ученическим шатким пером?

Смысл пока не оброс еще плотью и в кость
глубоко не вонзен,

чувствуешь веса и не надо сил,
В нашей бывшей Финляндии не хуже, чем,
напрмер, в Бретани,
«Ах, с самого детства никто меня так не
водил!»

По рощам густым, преимущественно
сосновым,
С лучистыми снежными лоскутьями на ветвях,
Мы проскользнули, протопали от Репина до
Комарова,
Как далеко до детства, но, кажется, и до
старости — ах,

Эта середина лыжни, когда еще помнятся,
еще свежи ощущения
Младенческие — валянье в снегу, разбитые
коленки, первый отъезд, вокзал,
Ликование и ужас на бегу в момент падения,
«Ты у меня в руках, Африка», — Цезарь, упав,
сказал.

Но уже тянется взгляд нечаянно, самовольно
За встречной палкой, ощупывающей землю,
и не совсем со стороны
Вижу, чувствую, как с опаской: «посыпано
ли солью? —
Песка-то не видно» — переступают ступни,
гармошкой свисают штаны

И земля угрожает, настроена враждебно,
одышка —
Нет, не сама мучает, а вызывает сострадания
дрожь

Мучительную — придвигается близко
слишком
Новое знание телесное, от которого не уйдешь.

* * *

День мой, ау, куда завалился, куда задевался?
Что я сегодня сделала? Жизнь моя, где же
твои следы?
Сновала по кабинетам, вы бы видели эти
галсы,
Сжимая в руках рукописи, очки и бланков
листы.

В дверях своей комнаты с воинственным
автором столкнулась,
Возмущенно негодовал и был по-своему прав,
Другому, неповинному, не нашлась, не успела,
не улыбнулась,
И он вздрогнул, как кролик, на которого
посмотрел удав.

Зато терпеливо внимала чужой бесполезной
жалобе,
Купила кефир и сдала в прачечную белье,
К вечеру, оказалось, качаюсь, будто матрос
на палубе...
О, два рубля не вернула! — память,
несчастье мое!

Пора опять в парикмахерскую и надо
забежать в аптеку,
Боже мой, вдребезги день разбит, как сосуд
Бессмысленный, если его составить; под
каватуину Алеко
Плывущую от соседей, осколки сердце сосут.

Мой день, мой сегодняшний, еще теплое
первое
Февраля, готовое ускользнуть, о, смерти
страшней
Не зацепившаяся за смысл — напрасно
натянуты нервы —
Эта жизнь проваливающаяся, исчезновение
дней!

АЛЕКСАНДР ВЕЛИЧАНСКИЙ

Бедняга Йорик

Что ж помню. День был ветренный. Весною
грунт мажется. И глина тяжела.
Мы было уж управились. Вдруг — двое.
Один оборван чуть не догола.

Но сверх отребьев брошен плащ изрядный.
Другой (чей плащ), ну так себе — школяр.
Над нами встали. Говорят. Ну, ладно.
Потом им череп дался. На кой ляд?

Пристали, дескать, чей. Ну, ладно, вру им,
де, Йорика, придворного шута.
Тут оборванец хватъ пустышку в руки
и ну болтать. Я, видишь, неспроста

приплел им Йорика. Хоть пьян был, но
в бродяге
я сразу принца нашего признал.
«Бедняга Йорик!» — врет, как после браги.
Ох, не люблю я, брат, добра и зла.

А пуще — болтовни о них. Хоть нашу
покойницу возьми — шумел народ,
что принц ее покойного папашу
прихлопнул, словно моль. А нынче врет

про смерти окаяинства. Так-то. С ямой
мы кончили. За Йорика мне — дань.

Как раз идут с покойницей. С той самой,
которая утопла. Дело дрянь.

(Бедняга Йорик — 2)

Уперся поп. Не догнусавил что-то.
Брат трупа распалился — прямо страх.
Пристал к попу, как пьяная икота.
(А парочка моя, меж тем в кустах

хоронится). Ну, гроб спустили в яму.
Тут этот самый братец, малый хват —
в плаще заморском — вдруг за гробом прямо
в могилу шасть, чтоб вместе засыпать.

Кричит, как кочет. Больше про сестрицу.
Утопленницу. Вдруг из-за кустов
несет туда-же чокнутого принца.
И он зарыться, стало быть, готов.

Орет, как брат. А то и по-знатнее:
покойница ему куда милей.
Ну тут и подрались они над нею.
Из-за нее и подрались. А ей

теперь, поди — что истина, что враки,
что эль, что безутешная вода.
Ей, вроде нас, родимой — не до драки —
нам: поскорей засыпать и — айда.

Съезд

Собрались как-то дети Дон Жуана
из всей Испании, из всех легенд известных,

и даже из Голландии нежданно
прибыть изволило немало важных лиц,
и близ Толедо, в садике окрестном
они неделю пировали важно,
но все допив и разочаровавшись
друг в друге, восвояси разбрелись.

Эпизод

Однажды Луначарский,
сказавши речь про классы,
и увидав начальство,
как будто в страшном сне,
упал с трибуны в массы,
упал с трибуны в массы,
разбился и измазался
и потерял пенсне.

Наш островок

Наш островок отчалил от страны,
трясущейся от страха колыбели —
мы даже издали теперь не голубели,
волненьем вод от бурь ограждены.

Невелико приволье, но и тут,
оставив распри, происки и споры,
достигли мы великого простора,
где дети, травы, подневольный труд.

Белела церковь с куполом в волнах,
с приделами в зеленой луговине,
затем — изломы изб в резьбе-рябине,
заборы, куры, огороды, прах.

Здесь жили мы тишком за годом год:
рождались полюбовно, умирали
среди любящих, молились в день печали,
ловили рыбу, выгоняли скот.

Потом гуляли праздники, потом
на мясоед трезвонили венчанья,
и не вороны тучами, а чайки
по-над церковным реяли крестом.

Но как-то утром видит наш звонарь:
идет на нас из дальнего залива
великий флот страны несправедливой,
оставленной общиной нашей встарь.

(Наш островок — 2)

И в час, когда к заутрене звонят,
и гул любовно поднимают волны,
над островом зеленым, полюбовным
неслыханный ударился набат.

Весть разнеслась мгновенно. Весь народ
метнулся к пристани вперед молвы и крика,
все кинув и от мала до велика
ликуя: час расплаты настает.

Неслись калеки, выскочив из плеч,
бежали матери, не докормив младенцев,
и всяк страшился в замиравшем сердце
всеобщую кончиной пренебречь.

Больные выползали, и воздев
негнущиеся руки к убежавшим,
«И нас, и нас! — кричали, — всех, так всех, —
мы все сродни одной державе нашей».

В одно мгновение был опустошен
наш остров: обезлюдели жилища,
и полый храм от купола до днища
безмолвия хранил глубокий стон.

В последний раз мелькнули впопыхах
посад, околица, откос и тополь круглый.
Вот горизонт в волнистых парусах.
Вот глаз людских хладеющие угли.

(Наш островок — 3)

И замер на причале весь народ,
вперед подавшись сблизившимся телом.
Шли паруса, налившись ветром спелым.
Все ближе, ближе, явственней, вот-вот...
Но мимо, мимо проплывает флот —
неужто он и вправду уплывет
все дальше, дальше — прочь
из этого напева?

Если б в Кане галилейской

Трясущимися руками
пью водопроводную воду.
Вот если бы быть мне в Кане
одним из нищего сброда —

мне б кто-нибудь из галилеян
наполнил бы чудом чашу...
И я бормочу, веселея,
ртом, о стакан стучащим:

«Славен Исус Чудотворец,
жених и невеста славны,
гостей подгулявший народец,
детишки, собаки, камни.»

* * *

Не печалься, древний Габирол:
горечи никто не поборол
и никто не стер с лица печали —
далеко печаль за тусклыми очами.
Сразу и горюет и поет —
горечь нам — что верная подруга...
Но наутро замечаем грубо:
призрачны объятия ее.

РУСЛАН МИРОНОВ

Гетеры, куртизанки, баядерки,
Гитара шестирука, пышнобедра,
Не это нам виднеется, не это,
Подвалы, подворотни да подъезды.

Антоний, легионы, колесницы,
Сандалии хоть жестки, да летучи.
Порывистые ветры, пионеры
И скверы голые и голуби на крышах.

Плечами отираем эти стены
И плечики становятся все уже,
Подошвы жрет наждачная бумага,
За шиворот дождевики затекают.

И кто бы знал, что в Северной Тавриде,
Да за полночь, пристроившись на стуле,
Нам медленно хозяйка наливает
Струящегося золотого меда.

Город

Я близорук, но «цифр» своих не помню.
Подолгу шурюсь, резкость навожу
На города сутулую беспомощность,
Преодолев беспомощность свою.

И вижу дом: сплошные черепицы,
Из окон свет, за светом россыпь слов

Неспешных в холода, но нужных чаепитий,
Где чашек и людей не угадать число.

А стекла — образец судебной экспертизы.
Так зверствовал мороз, перчаток не одев.
Характер проявил напористый, спортивный,
Замазку расколол, сквозь рамы не пролез.

Во фронт аллеи спят. Приказ по стойке
«смирно»,
И только я один сегодня не у дел.
До чертиков промерз, тебя не разглядел,
Подделал как сумел вечерний фотоснимок.

* * *

Так значит, зима. Новоявленный снег
Лежит как на нарах король, и на всех
Нам хватит по одному ледяному снежку,
Чтоб в окно запустить и порадоваться пустяку.

Что будет потом? Ну конечно же звон
Разбившихся стекол, вскрики ворон
И хозяек, чихающих от малейшего сквозняка.
Волосатый кулак и свисток милицейский
наверняка.

Выходит что мы, забросав тротуар
Карамелью, стекляшками, выпустив пар
Из кухонь распаренных, юркнули в проходные
дворы.
Разбежались по-тихому, выбежали из игры.

Такая зима! Расчищает асфальт
Разоспавшийся дворник и видит последние
сны,

Так живем, ожидаем тепла и яблоч
И не плохо дружим, но не все для друга.
Оттого и часто вспоминаем, зябнем —
На базаре фрукты, а тепло на юге.

Нас никто не гнал из родного дома,
Да и сами мы никого не гоним.
Только вещи собраны, ключик сломан.
Вот сидим у моря и ждем погоды.

ВИКТОР ЕРОФЕЕВ

**Белый кастрированный кот с глазами
красавицы**

От нервного перевозбуждения я плохо различал погоны и кокарды судей, но, кажется, дело происходило не то во время царизма, не то и вовсе за рубежом, что, впрочем, не отменяло смысл вынесенного мне приговора.

Тогда я вскочил и заорал, адресуясь к военно-судебной туманности, что вы ошиблись, что так не честно, что вы поставили меня и себя в вопиющее положение. Во-первых, орал я, я ничего общего не имею ни с армией, ни тем более с трибуналом. Во-вторых, я противник смертной казни, так что получается дополнительное издевательство и даже адская насмешка. В-третьих, я люблю свою жену, которая не перенесет моей смерти, повесится или отравится, или выбросится из окна, или утонет, и сын останется круглой сиротой, которая вам этого никогда не простит. В-четвертых, все это бесчисленное количество раз описано и обыграно, и стало баналитетом, из узника совести, которым я не являюсь, вы делаете меня узником плагиата, которым я как литератор категорически не желаю быть. В-пятых, вы слишком много на себя берете, вторгаясь в трансцендентность и узурпируя функции промысла, а если я никогда не лю-

бил милиционеров, не мог заставить себя их полюбить, хотя и признавал их относительную полезность, так что, когда у меня украли колесо от машины, я пошел в милицию, и там меня выслушали, но колеса до сих пор не нашли.

Очнулся я в камере, от запаха нашатыря. Передо мною на корточках сидел полковник Диамант, начальник военной кафедры Московского университета, который я закончил семнадцать лет назад. Я сразу узнал его по светлым кудряшкам и ярко выраженному славянскому лицу. В свое время я от него сильно натерпелся.

— Ну ты, парень, раскис,— неодобрительно, но вместе с тем не без отеческого сочувствия сказал Диамант и сам для забавы понюхал нашатырь, прежде чем закрыть флакон. — Умирать, что ли, не хочется?

— Я ни в чем не виноват, товарищ полковник,— слабым голосом объяснил я.

— Виноват,— твердо сказал полковник.

Это был полный молодцеватый мужчина с голубыми глазами и узкими губками. Я чувствовал, что его энергетика куда сильнее моей, это была энергетика пятидесятилетнего мужчины, вкусившего власти, я никогда не мог сладить с такими в открытом бою, тушевался, поддакивал и ненавидел.

— Тебя завтра утром пиф-паф,— доверительно сообщил Диамант.

— Как, уже завтра? — невольно вырвалось у меня.

— В семь ноль-ноль,— уточнил полковник, поглядев на часы. — Времени у тебя предостаточно. Писать будешь?

— Апелляцию? — встрепенулся я.

— Зачем? — удивился он. — Что-нибудь художественное. Какое-нибудь воззвание.

Я задумался.

— Нет, — сказал я. — Мне абсолютно нечего сказать. Можно, я лучше жене записочку напишу?

— Пустое, — сказал полковник.

— Вы ошибаетесь, — сказал я. — Больше всего на свете я любил свою жену. — И поник головой, осознав, что говорю о себе в прошедшем времени.

— Врешь, — не поверил полковник.

— Однажды, много лет назад, когда мы еще не поженились, расставаясь с ней на лето, я проревел три часа у дверного косяка. В жизни по-настоящему можно полюбить только один раз.

— Об этом и напиши, — предложил полковник.

— Об этом нельзя писать, — строго и печально сказал я.

— А негритянки у тебя были?

— И негритянок у меня не было, и Родину я не продавал, — вздохнул я.

— Продавал, — твердо сказал Диамант. — Ты знаешь, что мне в тебе нравится? — помолчав, продолжал полковник. — Что ты обручального кольца не носишь. Настоящий мужчина не носит обручального кольца.

Мы задумались каждый о своем.

— Хочешь знать мою тайну? — спросил я, приблизив к нему лицо.

— Ну? — он весь напрягся и замер, багровый.

— Я по натуре своей романтик... Вот, по-

Слушай, какая тишина. Как в деревне... Только собаки не лают. Я — замаскированный романтик, полковник.

— Да пошел ты в жопу! — разъярился полковник и со злобы плюнул на пол.

— И не стыдно тебе плевать в камере смертника? — укорил я его.

— Извини, я случайно, — засовестился полковник и сапогом растер свой плевок.

— У тебя, небось, жена — старая ведьма. Димант понуро кивнул головой.

— А моя — белый ангел с белыми крыльями!

— Она, что, спортсменка? — спросил Димант.

— Да вроде нет... — сказал я и стал ходить взад-вперед по камере, засунув руки в карманы, как маятник, вспоминая ее. — А может, меня не расстреляют? Может, только поугаю, как Достоевского, и сошлют. И я буду топить избу (...) кем бы стал Достоевский, если бы его не вывели на казнь?

— Черт его знает! — озадачился Димант.

— Он бы стал Чернышевским, понял? Правда, с другой стороны, Чернышевский столько лет оттрубил в Сибири и — ничего: остался Чернышевским.

— И правильно сделал, — одобрил Димант.

— Что-то я разболтался, — спохватился я. — Я больше всего в жизни страдал от того, что жизнь не соответствовала моим идеалам. В школе у меня была учительница истории, Циля Самойловна Пальчик. Такая фамилия — Пальчик! — я показал Диманту указательный палец. Мы дружно расхохотались.

— Да ну тебя! — отмахнулся от меня Диамант, утирая веселые слезы.

— Пальчик! Пальчик! — кричал я, хохоча.

— Отстань! Не могу, — покатывался со смеху Диамант.

— У Хлебникова есть стихи про смехачей. Это он про нас написал. О, рассмейтесь, смехачи! О, засмейтесь, смехачи! Ты любишь Хлебникова?

— Кто же его не любит? — удивился Диамант.

— Пожрать у тебя не найдется?

— У меня шоколад есть. Сливочный. Хочешь?

— Давай. Ничего, что я на «ты»? Ведь какой ты для меня полковник, если завтра все кончится.

— Где-то я читал эту мысль, — задумался Диамант. — Кстати, о мыслях. — Он полез в портфель и вынул оттуда альбом для рисования. — Видишь, у меня альбом есть. Я мысли коллекционирую. Ну, тех, которых мы тут пиф-паф. Напиши что-нибудь. А я буду хранить и время от времени перечитывать.

— А другие что пишут? Можно взглянуть?

— Погоди. Ты сначала сам напиши, а то так неинтересно будет.

— Ну, давай! — согласился я.

— Отлично! — просиял полковник и раскрыл альбом на чистой странице. — Вот тебе ручка. А я пока посижу, покурю.

Я положил ногу на ногу и задумался. Я долго думал, что написать.

— Только, пожалуйста, разборчиво, — умоляющим голосом попросил Диамант.

Он выкурил сигарету, вторую, третью. На-

конец, я собрался с мыслями, руки стали мокрыми и холодными. Не узнавая собственного почерка, я вывел несколько слов.

Диамант отобрал у меня альбом, надел золотые очки и прочитал раздумчиво, вслух:

Человек создан для счастья, как птица для полета.

— Ну как? — спросил я.

Он даже задохнулся от волнения и долго не мог вымолвить ни слова. Он смотрел то на меня, то в альбом.

— Это ты сам сочинил? — спросил, наконец, Диамант.

— Сам,— скромно ответил я, не скрывая, однако, самолюбивой улыбки.

— Это прямо как гимн! — возликовал Диамант, блеснув очками. — Гениальные слова.

Он даже обнял меня.

— Спасибо, спасибо, голубчик!

— Да, ладно... — заскромничал я.

— Я тебе вот что скажу,— зашептал вдохновенным шепотом Диамант, наклонившись к моему уху. — За такие слова... За такие слова... Пойду-ка я доложу начальству. За такие слова тебя могут помиловать!

— Что?! — подскочил я на месте.

— Сейчас сколько времени? Полпятого? Ну, я пошел, может, еще успею.

— Дайте мне еще шоколаду! — попросил я.

— На, возьми всю плитку. — Он торопливо вытащил шоколад из портфеля, схватил альбом и, подмигнув мне, исчез.

Я представил себе, как впопыхах он напяливает на себя шинель и папаху, выбегает за ворота, ловит такси, как останавливается машина, ночной таксист щелкает счетчиком, как

они едут по городу, оставляя на свежем снегу рубцы следов, в машине тепло и уютно, шофер молчалив, полковник поглядывает на часы, машина выскакивает на набережную и разгоняется, светят желтые фонари, я ем шоколад и вижу, как на черную воду Москва-реки ложится снег, машина тормозит у многоэтажного дома, похожего на свадебный торт, я проникаюсь любовью к этому тарту, я вижу полковника, стучащего в резную парадную дверь, и заспанную лифтершу в платке, которая долго возится с палкой, на нее заперта дверь, и просторный холл перед лифтами, и величественную кабину лифта с просторным зеркалом, отражающим полковника, который отряхивает снег, и, наконец, заветная дверь: короткий звонок — молчание, второй, третий звонок — и вот, из далекой глубины квартиры слышатся шаги не хозяйки — прислуги, слышится совсем рядом московский звук цепочки и щелканье замка, дверь открывается: — Здравствуй, Дуся! — Здравствуйте, — чуть удивленно, — Семен Яковлевич! — А Павел Петрович? Он спит? — Они, кажется, еще не ложились. Работают. Давайте, я повешу шинель. Коридор. Щель света. Голос хозяина. Из двери кабинета, выгибая длинную спину, выходит белый кастрированный кот с глазами красавицы.

— Ну что? — выкрикнул я.

Полковник Диамант с озабоченным утренним видом остановился посреди камеры.

— Извини, парень, — недружелюбно, но с душевной мукой, сказал он и по-русски, не глядя в глаза, стал расстегивать кобуру револьвера.

ГЕННАДИЙ АЛЕКСЕЕВ

ТИБЕРИЙ

Поэма

Оглядевшись,
Тиберий ужаснулся:
всюду валялись
черепки греческих ваз,
обломки человеческого достоинства,
обрывки дорогих восточных тканей,
щепки душевного благородства,
клочки древних манускриптов
и засохшие куски свободомыслия.
У всех женских статуй
были подрисованы усы,
а в углу на стуле
сидел какой-то галилеянин
с растрепанной бороденкой.
Поодаль
стояла прекрасная, как Фрина,
совершенно нагая Истина.
Она была блондинка,
но волосы на лобке у нее
были темные.

— Неужели и она красится? —
воскликнул Тиберий.

— Увы, но это так! —
сказал галилеянин.

Как громом пораженный,—
шатаясь,
спотыкаясь о черепки и обломки,
Тиберий выбрался на свежий воздух,
увидел море
и понял, что проснулся.
Море любило Гомера,
а Тиберий обожал александрийцев.
— У тебя дурной вкус! —
крикнуло море Тиберию.
— А ты отстало от времени! —
крикнул Тиберий морю.
— Ты всего лишь римский император! —
крикнуло море.
— А ты всего лишь Тирренское море,—
крикнул Тиберий.
— погоди, тебя скоро задушат подушкой! —
крикнуло море.
— Ну и пусть! Феокрит все равно выше
Гомера! —

крикнул Тиберий.
Гиппокампы
заигрывали с nereидами,
гиппокампы
ржали похотливо.
Nereиды
строили глазки гиппокампам,
nereиды
плескались в волнах.
— Поймайте вон ту, веселую,,
с желтыми глазами! —
велел Тиберий.
Поймали и принесли
уже невеселую
с позеленевшими от страха глазами.
— Чего ты боишься? —

сказал Тиберий,—
я же не варвар!
— А я и не боюсь! —
сказала nereida
и заревела.
— Что ты ревешь, дура? —
крикнул Тиберий,—
я же Тиберий!
— А я и не реву вовсе,—
сказала nereida,—
это я так.
О, боги! —
подумал Тиберий,—
о, милосердные боги!
Государство гибнет,
молодые люди
ходят в туниках с рукавами,
весталки предаются разврату,
в храмах лежат мертвецы
и Священная дорога завалена мусором,
а я развлекаюсь
здесь, на Капрее!
О, Капрея,
убежище блаженного одиночества моего!
Синие тени
багровых роз
на белых телах
колонн ионических
и грохот,
и грохот,
и грохот прибоя,
и конус Везувия
на горизонте!
Галл воспевал Ликориду,
Катулл — Лесбию,
Тибулл — Делию,

Овидий — Коринну,
Проперций — Кинфию,
но кто воспоеет тебя,
о, Капрея,
остров блаженного безумия моего!
— Скажи мне, Ксенон,
почему на Капрее так много роз?
— Отвечаю тебе, Цезарь:
ты сам велел посадить их,
как можно больше,
потому что Агриппина
любила розы,
а ты до сих пор
любишь Агриппину.
— А скажи мне, Ксенон,
что думают обо мне люди
в темных тогах?
— Отвечаю тебе, Цезарь:
они думают,
что ты давно уже гуляешь
по Елисейским полям,
и их обманывают,
говоря, что ты уединился
здесь, на Капрее.
— А скажи мне, Ксенон,
что делал Август в Александрии?
— Отвечаю тебе, Цезарь:
в Александрии
он долго разглядывал
тело Александра.
Потом он отломил у мумии
кончик носа
и взял его себе на память.
— А ты не врешь, Ксенон?
Неужели Август был способен на это?
— Ты наивен, Тиберий,

Август был способен на все!
— Нет, не на все!
— Нет, на все!
— Нет не на все!
— Нет, на все!
О, боги! —
подумал Тиберий, —
о, бессмертные боги!
Государство гибнет,
коринфские вазы
продаются втридорога,
народ спивается в кабаках,
матроны превращаются в проституток,
и Галлию опустошают германцы,
а я препираюсь с грамматиком
здесь, на Капрее!
О, счастливые боги! —
вздыхнул Тиберий
и стал читать Парфения,
но ему помешала толпа иудеев.
— Варавву! Варавву! —
вопили иудеи.
— Тише! — крикнул Тиберий
и снова принялся за Парфения,
но ему помешал галилеянин
с растрепанной бороденкой.
— Хорошо тебе, Тиберий, —
сказал галилеянин, —
а меня сейчас мучить будут.
— Значит, заслужил! —
сказал Тиберий,
и хотел опять взяться за Парфения,
но увидел прокуратора Пилата, —
он тщательно мыл руки
и выковыривал что-то красное
из-под ногтей.

Вроде бы крови! —
подумал Тиберий.
А галилеянин уже висел на кресте,
и кровь стекала ему под мышки
и далее по бокам
текла к бедрам.
Даже красиво! —
подумал Тиберий.
Под крестом два легионера
играли в кости на одежду казненного.
— Венера! — кричал один.
— Собака! — кричал другой.
— Мухлюешь! — кричал первый.
— Сам мухлюешь! — кричал второй.
— Схлопочешь! — кричал первый.
— Попробуй! — кричал второй.
— Кретины! — крикнул Тиберий, —
разорвите хитон пополам!
— И то верно! — удивились легионеры
и разорвали хитон
со страшным треском.
Почти оглушенный,
шатаясь,
натываясь на колонны и статуи,
Тиберий выбрался на галерею,
увидел море
и понял, что проснулся.
— Крепкий был хитон, —
сказало море
и поглядело на Тиберия
с любопытством.
— Кре-епкий был хитон, —
сказали хором гиппокампы
и заржали понимающе.
— Да, крепкий был хитон, —
сказал Тиберий

и велел зажечь все светильники.
И все удивились,
потому что светило солнце.
— Разыщите мою совесть,—
сказал Тиберий,—
она прячется
где-то в темном углу.
Разыщите и умойте ее,
умастите ее тело
миррой оронтской,
 а ладони ей
 натрите киннамоном,
облачите ее в тунику
из косской ткани,
 а сверху наденьте на нее
 шелковую паллу,
нанижите на пальцы ее
перстни Диоскорида,
 а в волосы ее
 заплетите жемчуг,
возложите на голову ее
венки из белых роз
и приведите ее ко мне,
приведите скорее!
И тащите сюда флейты,
 кифары
 и сестры!
И тащите сюда старое фалернское!
И хиосское тоже тащите!
И кладите за стол
всех богов!
О, всемогущие боги!
Я, Тиберий Цезарь,
пригласил вас на пир!
И тебя, Меркурий,
 врун и ворюга,

и тебя, Венера,
 смазливая шлюха,
и тебя, Марс,
 кровожадный ублюдок,
и тебя, Минерва,
 мужеподобная ханжа,
и тебя, Вакх,
 красноносый алкоголик,
и тебя, Юпитер,
 старый бабник!
Вот, зрелище,
ласкающее глаз:
шафран и пурпур,
золото и яшма,
и жемчуг
 в рыжих женских волосах!
Вот, звуки,
услаждающие ухо:
бряцанье струн
и флейты чистый голос,
и сестры
 гулкая, рокочущая медь!
Веселитесь же, беспечные боги.
Пейте,
жрите,
горланьте,
пляшите,
блюйте,
буяньте,
топчите цветы,
бейте вазы,
подрисовывайте усы женским статуям
и любуйтесь моей совестью —
поглядите,
какая она чистенькая и нарядная!
Кем я был, почтеннейшие боги?

Я был способным полководцем
и усмирял далматов,
хотя воевал
безо всякого удовольствия.
Я был хорошим мужем,
и Юлия на меня не жаловалась,
хотя о распутстве ее говорил
весь Рим.

Разве я вру, Гай?

Скажи им, что я не вру!
Чего я не любил, мудрейшие боги?
Я не любил роскошь
и на Родосе
я ел из простой самосской посуды,
за что многие меня презирали.
Я не любил гладиаторские бои
и распустил по домам
половину гладиаторов,
за что многие меня возненавидели.

Разве я вру, Друзилла?

Скажи им, что я говорю правду.
Чего я не хотел, добрейшие боги?
Я не хотел казнить
поэтов и историков,
но их пришлось казнить,
потому что этого хотели
другие поэты и историки.
Я не хотел власти,
но мне пришлось стать властителем,
потому что властвовать
было больше некому.

Разве я вру, Макрон?

Так скажи же им,
что все это сущая правда!
Чего я хочу, милейшие боги?
Я хочу губкой

стереть свою жизнь
с папируса истории,
как поэты
стирают неудавшиеся места
в своих стихах.
— Не ври, Тиберий,
ты не хочешь этого! —
произнесла статуя Августа,
стоявшая на возвышении.
— Закройте эту статую покрывалом,—
тихо сказал Тиберий.
— Поверните ее лицом к стене,—
сказал Тиберий погромче.
— Бросьте подушку ей на голову! —
крикнул Тиберий.
А статуя сказала:
— Гляди, Тиберий,—
море волнуется!
— Лейте! — крикнул Тиберий,—
лейте в море вино!
 Оно хочет выпить!
Бросайте,
бросайте в море жареных мурен!
 Оно проголодалось!
Бросайте в море
систры, кифары и флейты!
 Оно любит музыку!
Бросайте в море
ожерелья, камеи и золотые кубки!
Бросайте в море
этих мраморных богов,
ибо время их истекло:
сегодня после полудня
всадник Понтий Пилат
благополучно умыл руки!
Но казалось,

нет, не казалось,—
Капрея и впрямь покачивалась на волнах
и медленно
медленно разворачивалась.

Но казалось,
нет, не казалось,—
Капрея и впрямь уплывала
в открытое море,
и Везувий уже исчез из глаз!
— Ура!

Мы уплываем! —
крикнул Тиберий,—
мы уплываем куда-то!
Как либурнская галера,
плыла Капрея благоуханная
к холмам Киммерийским.
Вдалеке
стояла невыносимо прекрасная
бесстыдно обнаженная Истина.
Она была настоящая блондинка,
и даже волосы на лобке
у нее были светлыми.
Несколько ближе
на кресте
висел галилеянин с растрепанной бороденкой.
Он был еще жив.
Один из легионеров подошел к кресту
и, красиво размахнувшись,
воткнул копье
в тело галилеянина.
Гиппокампы ржали торжествуяще.

ЭПИЛОГ

По улицам бродит Понтий Пилат
и каждому встречному

сует под нос свои руки.
Удивительно! —
говорят встречные, —
руки идеально чистые,
даже под ногтями бело!
Еще бы! —
говорит Пилат, —
мне пришлось постараться.
Ведь народ кричал:
Варавву! Варавву!
И смятение увеличивалось.
Поразительно! —
говорят встречные, —
такие чистые руки,
а вымыты они без мыла!
Э! — говорит Пилат, —
если бы у меня был
хоть маленький обмылок,
я бы ни секунды не колебался.
Ведь народ кричал:
Распни! Распни его!
И все было ясно.
Потрясающе! —
говорят встречные, —
прошло столько лет,
а руки все чистые!
А как же! — говорит Пилат, —
стараюсь не пачкать.
Все ведь должны убедиться.
что я умыл руки.

1970

С ума сойти — какая благодать!
Какие белые бесчувственные зимы!
Какие зайцы прыгают в лесах!
Да и у женщин встретишь иногда
такие дивные породистые руки,
что дух захватывает.

Море есть на юге
с водой прозрачной и такой зеленой,
что просто смех.
С ума сойти как хитро
устроен мир!
Какие тут герои
встречаются
Какие водопады!
Какие камни попадают порой
на пыльных и ухабистых дорогах!

С ума сойти — какая красота!
Вороны каркают,
а где-то вдалеке
Сатурн-красавец, опоясанный кольцом,
летит кокетливо
среди пустоты кромешной.
Но может быть
и впрямь сойти с ума?

Сойти на полустанке преспокойно,
как будто бы в буфет
за бутербродом.
Сойти и спрятаться в кустах
неподалеку
и там тихонечко сидеть,
чтоб не нашли,
а поезд тронется.

Три вопроса и одна просьба Иоганну Себастьяну Баху

Иоганн Себастьян,
что думал ты
утром 14 мая 1725 года
направляясь в церковь Святого Фомы?

над городом собиралась гроза
туча была очень черная и величественная
и ты смотрел на нее с восхищением.

Иоганн Себастьян,
что чувствовал ты
днем 20 октября 1737 года
закончив свою «Высокую мессу»?
ты сказал жене
чтобы она послала за бутылкой вина
и вы пили это вино
в полном молчании

Иоганн Себастьян
что сказал тебе господь бог
вечером 28 июля 1750 года
когда ты беседовал с ним
тотчас после своей смерти?
вы прогуливались по дорожкам
райского сада
и херувимы, прятавшиеся в кустах,
смотрели на тебя с любопытством.

Иоганн Себастьян,
говори громче,
ты так высоко,
что тебя плохо слышно!

Возвращение в Коринф

Три дня
мы плыли по Коринфскому заливу
 проплыли Димы,
 проплыли Патры,
 проплыли Эгион,
миновали Гелику
 до Коринфа
 оставался день пути
но начался шторм
и нас выбросило на скалы.

Оставив разбитую триеру
мы пошли пешком
 прошли Карру,
 прошли Булиду,
 прошли Платеи,
миновали Мегары
 до Коринфа
 было рукой подать,
но началась война,
на нас надели доспехи
и повели к Афинам.

 Прошло пять лет,
 прошло еще пять лет,
 прошло еще пятнадцать лет,
 прошло еще два года
и война окончилась.

Страдая от незаживающих ран
мы скинули доспехи
и направились в родной Коринф.
По дороге
мы остановились в Микенах

здесь меня и убил
фракиец,
польстившийся на мои сандалии.

Хорошие были сандалии
на толстой подошве.

Мое горе

Громкое горе мое
не дает мне заснуть
отдохнуть и забыться
оглушает ужасными воплями
бранью
и песнями жуткими
истерическим хохотом
визгом
и хрустом суставов.

Бедное горе мое
никому не понятное
жалкое
чуждое детям и женщинам
позабытое
пыльное
грязное
среди старых газет
и ненужных коробок
прозябает веками.

Жирное горе мое
все покрытое розовым салом
на куски разрубаят
коптят
кипятят и поджаривают

нарезают на ломти
и с постным гарниром едят
те счастливы,
что горя не ведают.

Бодрое горе мое
босиком
и в одних только трусиках
без унынья
без признаков робости
проходящее шагом торжественным
по прямой
недвусмысленной улице
на глазах у веселой толпы
подает мне достойный пример.

Кад занятно дразнить
удивительным
редкостным горем моим
тараканов угрюмых
и прочих чудовищ!

Масленица

Тройки скачут.
Визг,
 смех,
 ржанье,
 топот,
 снег столбом.

Пропадай все пропадом!
Веселая масленица!
Тройки скачут.
 Шум,
 гам,

песни,
хохот,
на ходу швыряют бутылки,
разбивая их о стены.

Пропадай все пропадом!
Веселая масленица!
Тройки скачут.

Звон,
свист,
крики,
гогот,
на ходу вываливаются
из саней
и разбиваются насмерть.

Пропадай все пропадом!
Веселая масленица!
Я к ней:
Русь, говорю,
пропадет ведь все пропадом!

Она молчит.
Я ее за рукав дергаю:
Чего молчишь-то,
Русь, а Русь?
Ты что, не слышишь?
А? Эй, Русь!
Да, что с тобою?
Ну же, Русь!
Эй, брось дурить,
опомнись, Русь!
О, господи,
мне страшно, Русь!
Пригляделся,
а это и не Русь вовсе,—
чужая какая-то женщина,
глухонемая.

На темы Ницше

1.

«Не безумие ли еще жить?»

Как упоительно жил я на свете!
Сколько сносил я носков и рубашек!
Сколько округлых
обкатанных камушков
бросил я в воду
и сколько кругов
вдаль разбежалось от них
по воде!
Сколько ночей я не спал
из-за мелких
самоотверженных
злых насекомых!
Сколько зверей повстречал я
в лесах!
и никого я из них
не обидел.
Как удивительно
жил я на свете!
Не безумие ли еще жить?

2.

*«Это радость, что скорбь
уже глубока.»*

Это ли не радость
что скорбь уже так глубока? —
если заглянуть в нее
то дна не увидишь
как ни старайся.
Горько плачут в лесу осины
после дождя

и страшен облик горизонта
полузадушенного подушками облаков,
но я радуюсь от души.
Это ли не радость
что скорбь так несказанно глубока? —
если заглянуть в нее
дух захватывает.

3.

*«Разве это была жизнь? —
скажу я смерти.»*

Разве это была жизнь? —
скажу я смерти.
Мне казалось
что у жизни другая походка
и глаза у нее другого цвета
и нет у нее дурных привычек.
Мне казалось,
что она похожа на лесную дорогу
ведущую к глубокому лесному озеру
по берегам которого
растут высокие старые сосны.
Неужели это была жизнь? —
скажу я смерти —
никогда бы не подумал!

На темы Евангелия

Просто так

*«Я пришел не судить мир.»
От Иоанна, гл. 12.*

Когда я пришел
меня никто не встретил

я встал в сторонку
и стал смотреть

некоторые кричат мне:
не стой в сторонке! —
будто я им мешаю

иные же говорят:
не суди о том, чего не знаешь! —
будто я сужу.

Я пришел не судить
я пришел просто так —
постоять в сторонке.

Быть может, поэтому
меня никто и не встретил.

Странный Иуда

*«...вот приблизился
предающий Меня.»
От Матфея, гл. 26.*

Вот приближается
предающий меня.

Он холост
за границей не был
наград не имеет
и к суду не привлекался.

Вот он приблизился
и стоит в растерянности

ну, ну, не робей! — говорю я —
поцелуй меня в щеку
и скажи: радуйся, Равви!

Но он стоит, как вкопанный
и смотрит в землю.

Странный Иуда! — думаю я —
быть может это оттого
что он холост и за границей не был?

Не оттого же
что наград не имеет?
Неужели оттого
что к суду не привлекался?

Спокойно

*«Наблюдайте за собою.»
От Луки, гл. 17*

Наблюдайте за собою
Делайте вид
что вам безразлично
а сами исподтишка
наблюдайте за собою.

На улице
наблюдайте из-за угла
дома —
в замочную скважину
в театре —
в бинокль.

И если что-нибудь заметите
не волнуйтесь
выпейте валерьянки
и спокойно продолжайте наблюдение.

Главное —
не волноваться.

Если скажут

*«И скажут вам: вот, здесь,
или: вот, там; не ходите,
и не гоняйтесь.»
От Луки, гл. 17*

И скажут вам:
сидите тихо
и держите язык за зубами
сидите
и не высовывайте носа
и не дышите
и не думайте ни о чем
сидите
и благодарите бога
что вас не заставляют вставать!

Тогда вы встанете
и скажете все, что думаете
и все удивятся вашей смелости.

Если же вам скажут
что птицы свили гнезда
в ваших ушах
то лучше не вставайте
а если встанете
то стойте и не шевелитесь
чтобы гнезда не вывалились
и птенцы оценят ваше благородство.

А впрочем,
поступайте, как знаете.

Напрямик

«...и никто из нас не
спрашивает Меня: куда
идешь?»

От Иоанна, гл. 16

Я иду напрямик
пересекаю улицы
переплываю речки
перелезаю крепостные стены и заборы
и оставляю следы
на земле и на асфальте.

Впереди меня бегут собаки
позади меня бегут кошки
надо мною порхают воробьи
и никто из них не спрашивает меня:
куда идешь?

Куда я, туда и они
вот и все.

Мой час

Душа моя теперь возмутилась,
и что мне сказать? Отче!

Избавь меня от часа сего! Но
на сей час я и пришел.

От Иоанна, гл. 12

Я долго ждал его.
Это будет мой час! —

думал я,—
весь целиком мой!
Все его минуты будут мои
и все секунды тоже.
Я приглашу своих друзей и знакомых!
Они наденут свои лучшие костюмы и платья!
Они придут с цветами и с бутылками
шампанского!

Я выйду вперед и скажу:
— И ты,
убийца лохматый
с ножом в заскорузлой руке,
и ты,
убийца неловкий
со ржавой погнутой вилкой,
и ты,
убийца красивый,
со шпагой и в шляпе с пером,
и ты,
самый лучший убийца,
я вижу совсем безоружный,—
пора!
принимайтесь за дело!
и сделайте все,
как положено!

Но я прозевал свой час.
Я считал ворон
и мой час достался другому.

Я проклинал все на свете.
Я лез вон из кожи,
и мне дали другой.

Не было друзей и знакомых.
Не было цветов и шампанского.
Все было очень просто.

Я поймал на улице
какого-то хулигана,
напоил его перцовкой,
сунул ему в руку напильник
и сказал: валяй!

Мой час давным-давно пробил.
Нечего ломать комедию.

ЕВГЕНИЙ ПОПОВ

СИРЬЯ, БОРИС, ЛАВИНИЯ...

Рассказ

Город расположен в ста с лишним километрах от Таллина и в каком-то количестве морских миль от Хельсинки, на берегу Финского залива. Город чужой — Эстония потому что. Эстония чужая, нерусская страна. Улицы шероховаты, уступами, к морю. Дымит завод строительных материалов, средний уровень образования работников неизвестен.

Всякое сердце любого русского человека, каковым являлся Борис, тревожно защемило бы, если в окне автобуса показались (что и случилось) куски плоской чужой пахоты, останцы некогда могучих дубовых рощ — сквозь восковку, тумана ли, измороси, моросящей сочащейся влаги: осень на дворе, и то скливо на сердце в пасмурный день, когда клеклые листья липнут к подошвам, горизонт белес и хочется повеситься в лесу совершенно и навсегда, дабы не участвовать во всей этой ландшафтно — метеорологической пакости.

Сирья Сийг глупые дети звали в школе «эСэС» — она закончила четыре класса и в пятый идти отказалась: семилетка была только в городке, и ей страшно было жить в интер-

нате среди чужих детей. Отец и мать колотили ее, но она забивалась в угол и подолгу стояла там, всхлипывая и посасывая указательный палец. Родители оставили ее в покое. Она пасла телят и пекла хлеб. А что она еще делала, что ела, пила, о чем думала — Борис не мог догадаться: он плохо знал быт послевоенной эстонской деревни. Сирье было тридцать два года, пятнадцать из них она посвятила процессу сушки кирпича в сушильном цехе завода строительных материалов. Работала она хорошо, и ее кандидатура была признана достойной заводской Доски Почета. Фото Сирьи уже который год висело на заводской Доске Почета, у нее было милое, чуть-чуть поросячье лицо, и на фотографии она вышла очень веселая. Двенадцать лет назад Сирья была невестой. Муж ее, Сулев, моторист рыболовецкой артели, тоже очень хотел жениться на ней. В субботу он не утерпел. Все кончилось слишком быстро, чтобы Сирья могла что-либо понять или по крайней мере испугаться. В воскресенье на него наехала автомашина, за рулем которой сидел пьяный. Сулев умер, не приходя в сознание, и свадьба не состоялась. Родственники Сулева не признали Сирью своей, и она не смела появляться у них на хуторе, среди заболоченных низин и мокрого леса. Она не забеременела. У нее никогда не было детей.

Лавиния Левенбук не была еврейкой, и она не была немкой. Она была эстонкой. Отец Лавинии, Иван Левенбук, не был евреем, немцем или эстонцом, потому что он был русский, но он исчез еще до рождения Лавинии, дочери подавальщицы из военной столовой. Ре-

Бенок рос рослым и смышленным, но в возрасте двенадцати лет с Лавинией случилось нечто вроде слабоумия: она перестала говорить и лишь хихикала в ответ на участливые расспросы матери и врачей. Девочка раздевалась догола и, пользуясь отсутствием вечно занятой матери, подолгу смотрела на себя в зеркало, не испытывая при этом никаких чувственных ощущений. Она полностью выключилась из жизни. Она закончила пять классов. Ей было шестнадцать лет, когда ее мать, пятидесятидвухлетняя Стелла, умерла от аневризма аорты. Стелла тогда работала в ресторане «Якорь». Поднос выпал из ее рук, дорогие кушанья разбились и погибли. Люди жалели ее — она была неплохая женщина, хороший товарищ... Лавиния поступила на завод строительных материалов и снова стала разговаривать. Иногда она плакала, вспоминая доброту покойной матушки. Она вышла замуж за экспедитора завода, пожилого рыжего мужика, и постоянно ему изменяла. Ей казалось, что в этом нет ничего особенного, временами она сладко задумывалась о том, что это нужно, полезно и очень хорошо. Хорошо всем. Все рады, что Лавиния изменяет мужу. Муж никогда об этом не узнает, и это тоже очень хорошо. Давайте считать, что двадцатилетняя Лавиния была счастлива.

В прошлом году ЦК компартии республики принял соответствующее постановление,*

* О реконструкции и расширении строительства предприятий строительной промышленности» — так, по моему (прим. автора).

и в город прибыла небольшая геологическая экспедиция, которой вменялось в обязанность провести весь комплекс изысканий под строительство нового гигантского завода строительных материалов или, если выразаться еще точнее, для целей реконструкции бурились эти скважины и брались на анализ пробы грунта из шурфов, потому что преобразовано должно было быть старое обветшавшее производство, пережившее буржуазно-демократическую республику, фашистскую диктатуру, оккупацию страны немецко-фашистскими захватчиками и счастливое послевоенное развитие в семье других братских народов, проживающих на территории СССР. С экспедицией в город приехал Борис. Борис был начальником экспедиции. Борису было тридцать шесть лет, и он родился в городе Ереване, но считался чистокровным русским, хотя и имел небольшую примесь еврейской крови.

Бурную молодость свою он провел в Московском геологоразведочном институте, работал в Средней Азии (Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Казахстан), на Севере (Норильск, Воркута, Мурманск), на Дальнем Востоке (Чукотка, Улан-Удэ, трасса БАМа), на Юге (г. Махарадзе, Грузия; г. Дашкесан, Азербайджан). Под Свердловском он случайно видел пленного американского шпиона, летчика Пауэrsa, в Новочеркасске оказался свидетелем трагических событий, в Минусинске у него жила жена, с которой он развелся, в Сочи его застала холера, и он полтора месяца провел в карантине с известным поэтом В. Е., порядочно ему надоев; в Хорезме его ударили ножом за то, что он в пьяном виде

сделал пальцами знак Δ *; в Красноярске он встретил татарку, которая, когда дело дошло до «отношений», оказалась без трусов, на Урале он хотел вступить в партию, но его не приняли, не было кворума, в городе Алдане он получил почетную грамоту и ценный подарок. Он устал от Державы, но не хотел ее покидать, смутно томясь предчувствием еще более удивительных приключений, встреч, которые могли бы всерьез озадачить его. Он не хотел умирать.

Сирья немного рассказала ему о себе. Она думала, что он проводит ее, ей было страшно на темных улицах маленького городка, но она крепилась. Она сказала, что у нее все было надорвано двенадцать лет назад, и ей, должно быть, будет очень больно. Увлеченный, присматривающийся к себе, он не слушал ее. Она застонала, но не вскрикнула.

Лавинию привел к нему на Пасху разведенный рогоносец Юрочка. По телевизору играл ансамбль. Было очень весело. На столе стояло много бутылок вина, жареное мясо жирноватое, сыр «Российский» и колбаса. Водку запивали водопроводной водой.

Лавиния не произвела на него особого впечатления. Он не поручился бы даже и за то, что она ему нравится. Лавиния носила красный брючный костюм и выглядела старше своих лет. Юрочка плакал. Остались одни, и Борис с остервенением набросился на Лавинию. Девушка хихикала и торопливо помо-

* «Усы», местные жители очень не любят этот знак. Он напоминает им о прошлом.

гала ему. Вскоре рассвело, и она отправилась домой.

Странным было поведение Сирьи, могущественным ее влияние на Бориса. Он совершенно прекратил встречи с Лавинией, встречаясь с ней всего лишь раз или два в месяц, а то и реже. Тем временем наступила зима. Румяные эстонские школьники хором кричали «Хеад уут аастад!»* Прохожие ласково глядели на них. В каменном низеньком магазине «Мордобойка» пьяная рожа в белом халате продавала вишневый ликер. По улице шел геодезист Федька с кирзовой полевой сумкой на боку и в кирзовых же сапогах. Мороз крепчал. Борис поманил Федьку.

— Ты почему третий день дома не появляешься? — спросил он.

— Пошла бы она, пошла бы она, пошла бы она... — сплюнул геодезист.

— Твоя баба просила выдать ей твою зарплату. Я ей не дал твою зарплату, — сказал Борис.

Лавиния с мужем, нарядные и взволнованные, шли по серой улице в гости, а вечером того же дня Борис разговаривал с Сирьей. Он рассказал ей о том, что посетил несколько разговорных уроков в эстонской школе: райком рекомендовал делать это всем русским и всем другим национальностям, не говорящим по-эстонски. Но сейчас, пояснял Борис, сейчас я очень загружен работой и я не смогу посещать эти уроки, хотя мне очень хотелось бы, потому что я уже выучил много эстонских слов... Сирья молчала.

* С Новым годом (эст.)

РАКомендую,— острил Борис.

Сирья молчала, а потом стала одеваться, так как через час начиналась ее рабочая смена. Если Сирья работала в ночную смену, то она приходила к Борису вечером, если утром работала — приходила ночью, если вечером — приходила в обед. Начинала одеваться всегда за час до рабочей смены. Жуткая или смешная наша жизнь? Кто ответит?

— Ты не выйдешь на улицу? — спросила она.

— Ты не будешь на меня сердиться, если я не смогу этого сделать? — спросил Борис.

— Нет, нет,— сказала она и ушла.

Борис не знал, как называется цех, в котором она работает. По его представлениям этот цех должен был называться сушильным. Сирья надела отвратительную брезентовую робу и сразу же стала отвратительной, бесформенной и бесполой. Она спросила подругу:

— Скажи, если мужчина не использует презерватив, от этого всегда бывают дети?

— Нет, не всегда,— подумав, ответила подруга. — Но лучше все же что-то использовать. Можно использовать, это называется «колпачок», можно использовать спираль, это называется «спираль»...

— Спираль? — спросила Сирья.

— Спираль,— повторила подруга.

— Спираль? — переспросила Сирья.

— А может, ты хочешь ребенка? — заглянула ей в глаза подруга.

Сирья разделась. Лавиния работала в том же цехе, но их смены никогда не совпадали. Лавинии казалось, что она забеременела. Забеременела от мужа. Лавиния с наслажде-

нием думала о том, что у нее будет ребенок. «Он станет рыбаком»,— думала Лавиния. Лавиния ошибалась.

Так прошла зима. Однажды Сирья сказала Борису, что она в него сильно влюблена. Борис не понимал, что именно она имеет в виду, и Сирья долго поясняла свои слова. Она говорила о том, что поток любви захватил ее, и ее медленно разворачивает, чтобы нести по течению. Но она еще в силах выплыть, в силах бороться с течением, она пока еще сможет одолеть течение и выбрать себе безопасное место для плавания. «Я для вас игрушка, Борис! Вы играете мной, я боюсь в вас влюбиться совсем. Совсем, совсем, совсем...»— печально говорила она, целуя Бориса и глядя его мужественное лицо, обезображенное красивым шрамом. Малообразная речь ее закончилась сообщением о том, что она увольняется с завода строительных материалов и уезжает в город Пыльтсамаа, тридцать с чем-то километров от железнодорожной станции Йыгева, где будет жить у родных на хуторе, а работать поступит на знаменитую фабрику пыльтсамааской горчицы, и что она уже две как недели подала законным порядком заявление об увольнении, отработала положенные, согласно КЗОТу, двенадцать дней, и завтра, а вернее даже сегодня, рано утром, она возьмет свой тяжелый чемодан и сядет на рассвете в междугородний автобус, который своими желтыми фарами прорежет туман. Чемодан уже собран. Она прощается.

Борис растрогался и сначала хотел проводить ее по темным улицам маленького городка, но потом решил не ломать традицию и зас-

нул, предварительно договорившись с Сирьей, что он подойдет к автобусу и поцелует ее на прощанье.

Он проснулся пятью минутами позже того времени, когда еще можно было успеть выполнить обещанное. За окнами совсем рассвело, но плотный белесый туман скрывал все видимые предметы на расстоянии десяти-двадцати метров. Запрокинув голову, Борис напился теплой воды из носика эмалированного чайника. Он вышел на улицу, направляясь к морю.

В городке было совсем тихо. Он шел мимо почты, видел выставленный в окне громадный рекламный конверт с портретом какого-то сердитого человека и надписью, поясняющей, что этот человек «эстонский революционер и музыкант Эдуард Сырмус, 1878—1940». *Eesti revolutsionäär ja muusih Eduard Sõrmus, 1878—1940.*

Каменные низенькие дома. Кирха. В тумане. Тени дымящихся труб завода строительных материалов. Сырмус.

Дорога вела к морю. Он миновал кладбище. Лес. Обрыв. Мостик. «Глинт, это называется глинт», — вспомнил он свою специальность. — «Глинт — это крутой уступ древнего силурийского плато, простирающийся к Югу от Финского залива, реки Невы и Ладожского озера». Вдали белел маяк.

На берегу появилась Лавиния. Она молча смотрела на Бориса, но он, отрицательно покачав головой, вошел в воды мелкого залива и зашагал по направлению к Финляндии. Вскоре его остановил эстонский пограничный катер. Врачи сочли, что случившееся являлось

суицидальной попыткой и, продержав больного определенное время на больничной койке, с миром отпустили его.

Юрочка повесился. Муж избил Лавинию. Лавиния развелась с мужем и эмигрировала в Швецию, где у нее обнаружили родственники по отцовской линии. Сирья написала Борису письмо. Борис уехал в Москву и там женился на женщине с ребенком. Следующей весной она умерла от родов. Борис воспитывает сына и приемную дочь.

Ибо жизнь не кончается. Все — бессмертны. Никто никогда никуда не возвратится.

1979 г.

Из деревьев, озвученных ветром,
Из солнца,
 но, в основном, из дождя,
Из темноты,
 но, в основном, из света.
Единственное, что я создал сам
 от начала и до конца.
До конца.

Исакий. Оттепель

Собор устал и дымкой выцвел,
И тяжесть позолот смугла.
Вороны одинокий выстрел
Взлетает с левого угла.

На правом — безымянный ангел,
Навек отчаянно крылат,
Стоит, всезнающе и нагло
Сподлобья осыпая взгляд.

Над всем — креста оцепененье,
А выше — неба серый стяг
В полувесенней мутной лени
И солнца стершийся пятак.

Все в этом промозгле — молчанье,
Все здесь — окаменевший бег.
И, обезличив расстоянья,
С небес сорвался чистый снег.

* * *

Мороз пробирает дома до костей.
Ну, вот и закончилась тихая осень.

Ослабло во мне ожиданье гостей,
Ослабло, а скоро исчезло и вовсе.

Друзья далеко. Еще дальше от них
Я сам. Нетронутый снег у калитки.
Над городом фабрик, контор и больниц
Небо ползет белесой улиткой.

Прозрачны худые березок тела,
Оскоминой холода лес перекошен.
Я меряю Невский с угла до угла,
Словно в глухую деревню заброшен.

* * *

*«Бессоница. Гомер. Тугие паруса.
Я список кораблей прочел до половины...»*

О. Мандельштам

Какие-то греки, моря, корабли,
Елена и кто-то не в силах проснуться...
Вот кофе, вот чай, вот копейки, рубли
И сладкое что-то в буфете на блюде.
Вот мы расстаемся. Машины, трамвай.
Вот серое небо и дождь-недоносок.
Вот окна, вот двери. Но где же тот рай,
Тот запах смолой сберегаемых досок?
В Манеже — картины, в метро — толчея,
На улице — вечнознакомые лица.
Но где же руно? И женщина — чья?
И боги кому разрешили влюбиться
В нее? Но о чем говорить? Ни о чем
Говорить, слова рассыпая и тратя,
Уйти, убежать, горячим ключом
Открыть и с книгою лечь на кровати.

И снова о греках, об их суете...
Вскочить и бежать к телефону как к богу.
Но в трубке гудки и цифры не те,
И стол подгибает корявые ноги
Под тяжестью этих спешащих гудков...
Какие-то греки с блаженной судьбою —
Доплыли, нашли и, с подсказки богов,
Отбили, крича и пьянея от боя...
О чем я? О греках, об их кораблях,
О том, что и мне отыскался бы повод
Доплыть и найти, о том, что в словах
Запутался длинный, как список тот, провод.

* * *

Но где-то есть уже весна.
Цветасты в букварях картинки,
И если верить им, страна
Открыта кедам и ботинкам.

И в неэвклидовость спеша,
Струятся рельсы по равнине.
На семафоре два гроша —
Один — новье, другой — патинный.

Открыл усталый грошик путь.
Ветшает день на дряхлых крышах.
И я отправился взглянуть,
Как ветер призрак трав колышет

В полях, где снег ушел на дно
Земли, волнистой словно море,
В лесу, где родника окно
Открыто настезь будет вскоре.

И вместе с поездом вздох
Спешу к раскрытию первых почек.
И поезда сухая дробь
Понятнее тире и точек.

ЯКОВ ГОРДИН

СОЛДАТЫ ПЯТИДЕСЯТЫХ

Три километра проселка

Весной их стрелковый полк опять передислоцировали. Надо было заново строиться.

Логинов каждое утро водил свой взвод на строительство офицерского городка. Обрато он обычно шел один и отдыхал. А взвод вел кто-нибудь из командиров отделения. В тот раз с ним увязался солдат по фамилии Гуменный. Случайно. Отстал от взвода и увязался.

Трехкилометровая дорога пролежала мимо артскладов, вдоль колючей проволоки, через каждые двести метров — вышки. Часовые на вышках и в будках внутри, за проволокой. На вышке прожектора.

А с другой стороны не то поле, не то пустырь. Там и травы толком не было — серые сухие стебли бурьяна. Грязная сухая глина. Всякий мусор.

Этим августовским вечером, когда солнце было уже совсем низко, весь этот придорожный пейзаж выглядел очень странно. Ржавая колючая проволока ограждения багровела и казалась живой и мягкой. Она казалась стеблями каких-то диких трав. Она колыхалась в мареве и не то ползла, не то росла. Каза-

лось, колючки проросли только что. По другую сторону дороги нестерпимо тяжело сверкали от косых лучей консервные банки и куски бутылок. Серые скелетики бурьяна выглядели еще суше и безнадежнее.

Логинов шел медленно, что-то пел про себя, что-то думал и только на втором километре понял, что Гуменный с ним разговаривает.

— Кто, кто? — переспросил он.

— Ванеев, Ванеев. Из пятой роты. Знаете, такой с красной мордой. Ванеев такой. Ну, он тут снюхался с одной и подцепил. Так теперь у него дело есть — баб от лагеря гоняет. Сидит специально после работы и ждет. Как увидит — подойдет, значит, так идет будто — ничего. А подойдет и — по морде. Ну, вчера одну смазал — у нее кровь из носу. Заорала и в санчасть. Вызвали дежурного по части, и Ванеева за шкварник. Ну, он объяснил. Посмеялись, конечно. Этой дали умыться и — коленкой. Его тоже отпустили.

Логинов смотрел как сияют стекла прожекторов на вышках, как блестят черным цветом их металлические корпуса. Часовые на вышках не топтались, как обычно, они стояли тихо, прислонившись к высоким перилам и, казалось, что их вовсе нет.

До лагеря оставалось не больше километра и оттуда доносилось радио. Там на березах висели зеленые колокольчики и пели весь день. Это была местная лагерная трансляция. Пока батальоны были на работе, радио на березах пело западные песни. Когда батальоны возвращались, музыка становилась скромнее и патристичнее. Но сейчас оттуда ползло тяжелое августовское танго, «Бесаме мучо».

Разврат. Очевидно и радиста пришибло погодой. Этим невыносимым вечером.

Мимо них проскакал по колдобинам зеленый самосвал. За ним мчалось облачко пыли. Пыль хлестнула их по сапогам.

Логинов все кивал на разговор Гуменного. Они шли теперь мимо барачков. Бараки были снаружи белены. Когда-то.

— Я тут шел недавно, слышите, товарищ сержант, вон барак грязный, где скамейка. На скамейке девочка сидит. Ну, лет семнадцать. Грязная тоже. Их здесь много ходит. Я когда у досок ночами дежурил — все подходили. И где они тут живут? Ну, я подошел к этой. Что, говорю, девочка? Хорошая ты, может, пойдем? Нет, говорит, ничего у нас не выйдет, солдатик. А почему же это? А потому, говорит, что я голодная. Ну, а я что ей дам? Ничего. И ушел. Жалко. Откуда их столько набирается тут. И живут ведь как-то, а, товарищ сержант?

Логинов кивал. Господи, как тяжело сегодня. Не жарко. Нет. Тяжело. Что это за дорога? Сколько я по ней ходил? Господи! Когда солнце сядет? Нельзя же так! Проволока все извивалась вдоль них со своими рыжими колючками.

— Я, товарищ сержант, вчера дневальным был и видел, как вы Сорокуну говорили. Как Сорокун на младшего сержанта кирпичом замахнулся. А вы ему говорили. И что он, думаю, ему говорит. Дал бы в хлебало! Чтоб не замахивался. Боксом дал бы. Вы же умеете. Я видел, как вы с Чигвинцевым. А, товарищ сержант?

Теперь самосвал шел им навстречу. Они потеснились к кювету, и Логинов увидел красноватые борта кювета. Глину в трещинах. Их снова хлестнуло пылью по сапогам и коленям.

Логинов поправил пилотку.

— Застегнись, Гуменный,— сказал он. — Лагерь близко.

— Слушаюсь, товарищ сержант. Их надо держать во как! Скоро демобилизуются некоторые, так вы подскажите там, чтоб меня командиром отделения. Мы с вами такую дисциплину наведем. Всех держать будем! А если уж так — выведем за палатки и поучим как надо.

Он неуклюже помахал кулаком. Логинов взглянул в его широкое, всегда чуть опущенное лицо. Рябоватое, серое. Здоровый парень, но сырой.

— Ведь по уставу можно применять силу, да, товарищ сержант? А? Вывести за палатки и поучить.

— К стенке ставить будем,— глядя в широкое рябое лицо, сказал Логинов. — Да?

— А можно разве? В мирное время?

— Нельзя, пожалуй.

— А-а!

— Я тебе сказал — застегнись.

— Слушаюсь, товарищ сержант. А Сорокун-то плакал потом в палатке. Матерился и плакал. Слышите, товарищ сержант?

Когда они вошли в лагерь, солнце уже село за лес. Красноватые краски пропали. И пропала тяжесть. Все стало серым и легким. Такая появилась легкость — хоть застрелись.

Игра

Палаточный городок шевелился от ветра. Палатки вздувались и опадали. Логинов несколько дней присматривался к Романову. Тот ходил вокруг, подходил, отходил. И молчал.

Сходили на ужин. Когда вернулись, Романов решил.

— Товарищ старший сержант,— сказал он Логинову. — Разговорчик есть.

— Ну, давай.

— Дело пустяк. Пустяк. Тут, знаешь, есть такие — Тришин и Смолянин, щипачишки. Барахлистые парни. Ну, они тут все в очко рубят. Почистили дураков. Ну, играют не так чтобы — бело. Надо их поучить, а?

— Ну, и что?

— Негде. Понимаешь, негде.

— Ну?

— Что — ну? Не ну, а — надо. Вот позволь, мы у тебя в палатке сегодня ночью. А? Негде больше. Застукают. А к тебе никто не пойдет. Часа два — не больше. И — порядок.

Они были земляки, поэтому Логинов прощал Романову некоторую фамильярность. И вообще, в той диковатой игре, которую вел помкомвзвода Логинов, имея на руках взвод, на сорок процентов состоявший из бывших уголовников, выпущенных по бериевской амнистии и замеченных через год забайкальскими военкоматами, Романов — этот дошлый зверь с маленькими глазками, был полезен. Ссориться с ним, пожалуй, не следовало.

— Ты, парень, думаешь, что говоришь? —

сказал Логинов, зная, что все равно согласится. — Думаешь?

— Ну, сержант, — сказал Романов, чуть отвернув голову и глядя искоса. — Мы же люди свои. Надо, значит — надо. А?

Логинов смотрел на него и думал, что, пожалуй, он не встречал рецидивистов с большими глазами. Всегда с маленькими.

— И отчего у тебя, Романов, такие маленькие глазки? — спросил он.

— А чтобы пыли меньше попадало.

— Понятно. А ты «Красную шапочку» читал?

— А как же! Сыну вслух читал.

У Романова была под Ленинградом жена-врач и пятилетний сын.

— Ну, так как, сержант?

Логинов усмехнулся.

— Ну, что с тобой сделаешь? Давай — работай.

— Ага, ага! Мы часов в двенадцать закатимся. Свечка есть?

— Есть.

Скомандовали на вечернюю поверку. Логинов поручил провести поверку командиру первого отделения и ушел за лагерь, под березы. Он прислонился к стволу и смотрел. Далеко в степи светился разъезд. Левее, среди сопок прыгало крохотное колючее световое пятно — шла автомашина. Темные палатки за спиной хлопали от ветерка. Из-за спины на стволы берез ложился свет от фонарей с передней линейки. Освещенные белые стволы были мертвы. К ним было неприятно прикасаться. Казалось, что они мягкие.

Поверка кончилась. Рота разбежалась по палаткам.

Логинов постоял еще несколько минут и пошел к себе. Как помкомвзвода он жил в одной палатке с ротным старшиной — сверхсрочником. Сейчас старшина был в отпуску.

Логинов вошел в палатку, зажег на фанерном столе свечу и сел на нары, положив руки на стол.

Он знал Тришина и Смолянина. Не любил их. Особенно Тришина. Он знал, что они не пойдут жаловаться в случае проигрыша, и не будут капать на него. Романова побоятся. Но, в общем, все это было неприятно.

Он знал, что Романов будет играть нечисто, а ни тот, ни другой не рискнут его уличить. Ну, что ж делать?

Он достал из-под изголовья книгу и стал читать.

Они действительно пришли около двенадцати. Принесли с собой табурет — второй был в палатке. Тришин улыбнулся Логинову. У него был большой тонкий рот и улыбка казалась шире лица в полутьме.

Логинов снял сапоги и лежал, опираясь на локоть. Романов сел на край его нар, спиной к нему. Гришин и Смолянин — на табуреты. Романов вынул из кармана колоду, обернутую в газетку, развернул и сухо щелкнул ею, проведя ногтем по ребру.

— Ну, монету, — сказал он тихо.

Тришин положил около себя перетянутую грязной белой резинкой пачку десятков. Смолянин — просто кучку денег.

Романов — ничего. У него и денег, очевидно, не было. Он играл наверняка.

Для Логинова это было ясно. Участники игры обычно не чувствуют предрешенности. Ее чувствует по-настоящему сторонний свидетель, которому ничто не грозит. И отчасти, победитель. Перспективный.

Логинову было неприятно и странно смотреть на этих людей. Ему казалось, что если они проиграют — произойдет что-то страшное. И он, опять-таки, вынужден будет остаться свидетелем. А эта роль — не первый сорт.

Романов держал банк. Он сдавал неторопливо, давая возможность партнерам проследить за каждым его движением. Что они и делали.

Тришин взял две карты. Подумал. Все было видно на его маленьком истасканном лице провинциального воришки. Он сомневался. Логинов почувствовал, как напряглась выпуклая спина Романова. Тришин прикупил. Сморщился — перебрал. Бросил деньги в банк. Смолянин поставил на мелочь — набрал очко — взял.

Логинов, опираясь на локоть, смотрел на них немного снизу вверх, видел подсвеченные, тоже снизу, гримасничающие лица и крупно — руки.

У Смолянина лицо было неподвижно — налитые черные глаза, но все равно — какая-то гримаса бегала. И свеча помогала, конечно.

Логинов видел желтые от света свечи большие руки Романова. Двигались только руки. Сам Романов не двигался. Напрягалась и расслаблялась спина.

Романов держал карты чуть-чуть. Они сами выскакивали из колоды, когда надо.

— Давай. Еще. Хватит.

Романов брал себе.

Раз, два, третья — казна. Все. Отдал.

Палатка шевелилась от ветерка.

Было странно — руки двигались по фанере, выше гримасничали полуосвященные лица, а промежутка не была. Он был, конечно. Но незаметный. Как будто не было.

Логинов смотрел и спал. Он увидел себя сидящим за столом. Спinoй к нему сидел Романов. Логинов сдавал, а Романов не брал. Остальных не было заметно. Только шевелились на столе деньги и карты. Вдруг пламя свечи прыгнуло к лицу. Логинов закрыл глаза и проснулся. Открыл их.

— Давай, еще, еще. Очко.

Карты шуршали.

— Подсеки, дура! Знаешь?..

Сдавал Тришин. Он жалко ухмыльнулся на романовский окрик и повернул карту.

Логинов вытянул шею и осмотрел стол. У локтя Романова лежали деньги. Почти все.

Он сидел по-прежнему неподвижно, только плечи опустились. Логинову очень хотелось заглянуть ему в лицо. Но было никак. Тришин взял.

Он пытался что-то сказать, но не смог и только, хлюпая, втянул воздух. Лицо его сделалось еще меньше. Он притянул худой лапкой червонец. Около Смолянина денег не было вовсе. Глаза у него еще больше налились.

На потолке палатки двигались тени. Логинов опять не то засыпал, не то нет. Все двигалось перед ним.

Тришин опять пытался сказать что-то и снова только хлюпнул. Ему везло. Он брал.

Колода перешла к Романову.

Он положил ее на стол и придавил кулаком.

— Я все видел, темнило ты, сука. Тебя бы мордой об стол. Но это — ништо. Вот смотри.

Он начал сдавать.

Логинов видел, как Смолянин весь напрягся и перевел тяжело взгляд с карт на тришинское лицо. Он, кажется, за все время ни слова не сказал. Только по игре.

Логинов совсем проснулся. Его дергало. Ему страшно хотелось играть. Играть с Романовым. Он смотрел тому в напряженную темную спину и знал, что если тот и Тришина обчистит — что-то случится. Ему страшно хотелось заменить жалкого лепечущего Тришина.

Теперь брал Романов.

Тришин раскачивался. Его тонкая шея, казалось, не держала больше голову. Он отдавал деньги и раскачивался.

Смолянин, не отрываясь, смотрел на него. Романов играл и усмехался. Логинов не видел его лица, но тот усмехался почти вслух. Логинов знал, что Романов смотрит не на карты, а на Тришина. Все смотрели на Тришина.

И вдруг Тришин быстро смял оставшиеся деньги и сунул в карман.

Романов, тасовавший карты, замер на мгновенье, а затем швырнул колоду в маленькое, бессмысленно отчаянное лицо. Карты сухо ударили.

— Ты что, падла, — сказал Романов. — Не знаешь?

Карты разлетелись по полу.

— Подыми! — сказал Романов. Спина его выгнулась. — Ну!

Тришин заплакал. У него дергалась голова и моталась на слабой шее.

Он сполз с табурета и, всхлипывая, стал собирать карты. Ощупью.

Смолянин закрыл глаза. И сразу открыл их.

Романов взял свечу и осветил Тришину.

— Пересчитай.

Тришин плакал и пересчитывал.

— Монету.

Мятые деньги — пустяк — несколько бумажек — легли под острый тришинский локоть.

— Ну, смотри ты, щипачишка сталинградский. Смотри, как у нас в Питере работают.

Деньги кончились. Тришин сидел, опустив руки, лицо его судорожно морщилось.

Логинов откинулся на подушку. У него затекли плечи и ломило глаза.

Романов собирал карты.

И вдруг Логинов услышал хриплый мокрый звук. Он поднял голову. Неподвижно сидевший Смолянин отхаркивался. Он набрал слюну и, качнувшись, плюнул Тришину в лицо.

Тот закрыл глаза и стал отираться рукавом. Смолянин встал и тихо вышел.

— Ну,— сказал Романов Тришину,— бай-бай пора, а, мужичок? Давай, давай. Вставать рано. Не выспишься.

Когда Тришин ушел, Романов в первый раз повернулся к Логинову. Неосвещенное лицо его было тяжело. Он усмехался.

— Работать надо, сержант, работать надо. А шустрые ребятишки, а? Сержант? Этот-то — плюнул. Веселый парень, а?

Он повернулся и кинул на стол деньги.

— Ничего. Нам с тобой, сержант хватит.

На воскресенье. Но эти-то, ребяташки? А?

Он тихо и хрипловато засмеялся.

— Иди спать,— сказал ему Логинов.—
Ступай.

Романов собрал деньги, козырнул, усме-
хаясь, и ушел.

Логинов лежал не раздеваясь. Он не ви-
дел, нет, он помнил лица этих двух. Он знал,
что завтра они снова будут как прежде. Но,
господи! — ну и ночь! — какие морды. Он за-
дул свечу.

«Лучше бы ты их убил, Романов», — подум-
мал он.

И заснул, касаясь лбом палаточной пару-
сины.

Володя

Все знали, что он носит за пазухой писто-
лет. Это был не его пистолет. Этот пистолет
дал ему комендант.

И сам комендант переселился с пистоле-
том к Володе за пазуху. И жил там. Как
в поговорке.

Но если у Володи и было что-нибудь об-
щее с Христом, то разве что в тот момент, ко-
гда Сын Человеческий изгонял торговцев из
храма.

Для Володи храмом было все — кроме
расположения воинских частей. Тем храмом,
из которого должно изгнать.

Володя был штатным патрулем. Их было
несколько при комендатуре этой маленькой
сибирской станции, но Володя был старшим.
Он был старшим и самым свирепым. Никто

кроме коменданта не знал его фамилии, но все знали Володю.

Не только солдаты двух отдельных батальонов, стоявших в тайге в десяти километрах от станции, но и все гражданское население.

С Логиновым их связывали довольно странные отношения. Логинов имел постоянную увольнительную, мог бывать на станции в любое время и, следовательно, не был Володе подвластен. Володя его за это не любил.

Однажды они встретились в клубе, на танцах. Это было, кажется, в субботний вечер. В январе месяце. Все танцевали под радиолу. Было десять часов.

А дальше пошло как в кино.

С треском распахнулась дверь и в проеме застыл Володя. Руку он держал за отворотом шинели, на пистолете. Все остановились.

Его смуглое южнорусское лицо было неподвижно. Его высокая фигура в очень длинной темной шинели казалась настолько странной перед цветными женскими платьями, посреди громкой музыки,— что просто не верилось. Он не воспринимался как объективная реальность. И это двойственное чувство — вот он — патруль Володя, и в то же время — а черт его знает! — создавало какую-то неуверенность. И даже те, кто был без увольнительных, остались стоять неподвижно.

— Всем военнослужащим оставаться на местах и достать увольнительные,— сказал Володя сквозь музыку. За его плечами розовели от мороза лица других патрулей.

Никто из гражданских и не подумал протестовать против этой заминки в танцах. Прав-

да, такой номер Володя откалывал впервые, обычно патрули поджидали самовольщиков у выхода, но он так приучил всех к своей законенной наглости, что никто не удивился.

Логинов тоже не удивился. Но он легко представил себе, что можно сделать в подобном случае, имея автомат.

Два шага вперед и в сторону, чтобы не задеть танцующих, скинуть большим пальцем правой руки предохранитель. И слегка повести стволом.

И можно танцевать дальше.

Радиолу не выключили и она шпарила что-то очень быстрое и громкое. И никто не слышал ее. Даже Володя.

— Всем военнослужащим оставаться на местах,— повторил он. Клубный зал был очень невелик, и его красивый простуженный голос был прекрасно слышен и под радиолой. — Всем на местах.

Логинов одернул гимнастерку, взял под локоток полную маленькую девушку, с которой танцевал, и повел ее через неподвижную комнату к окну.

Володя молча следил за ним. Никто не двигался, даже гражданские.

Логинов вел свою девушку по неподвижной комнате, под звуки радиолы, раздвигал переминающихся людей и даже слегка пританцовывал. Он усадил ее на стул у окна, а сам присел рядом на подоконник.

Володя отвел от него глаза и шагнул в комнату, пропуская остальных патрулей. Он кивнул им, и они пошли по залу, проверяя увольнительные у солдат.

Володя направился прямо к Логинову. Он подошел вплотную и Логинов не встал с подоконника. Он сидел, безразлично глядя снизу вверх в смуглое Володино лицо, в его злые и тоже безразличные глаза.

— Вашу увольнительную,— сказал ему Володя.

Логинов ответил тихо, так, что слышала только девушка:

— Не прыгай,— сказал он,— наколешься. Понял?

У Володи дернулась рука. Наверно, потянулась за борт шинели. Но он не сунулся за пистолетом. Он постоял молча и повторил:

— Вашу увольнительную, товарищ старший сержант.

Он прекрасно знал, что у Логинова постоянная. Логинов, не поворачивая головы, осмотрелся. Недалеко стоял Романов с равнодушным лицом и примерялся взглядом к табурету. Был всего один табурет в комнате, на нем иногда сидел баянист.

Нет, нельзя. Драка будет.

Володя молча стоял перед ним. Он встал.

— Пошли в комендатуру. Там поговорим.

Володя двинул бровями.

— Чего? Чего?

Логинов кивнул Романову. Тот подошел.

— Знаешь где комендант живет?

— Так точно.

— Иди, вызови в комендатуру. Быстро!

Володя изумился. Лицо его не двинулось, но стало как-то плосче.

— Стой! Не надо,— сказал он. — Там комендант, там. Пошли.

Он подозвал одного из патрулей и что-то тихо ему сказал.

Логинов взял в раздевалке шинель, и они вышли на улицу.

Была чистая звездная ночь. Тайга поднималась вокруг станции, черная и плоская, наклеенная на небо. И только вдалеке впереди чуть виднелись выпуклые сопки.

Они пошли по блестящей скрипучей дороге. Лица сразу затвердели от холода.

Они прошли уже метров сто, когда Логинов заметил, что идут они вовсе не в сторону комендатуры. Он искоса взглянул на Володю. Тот был на полголовы его выше и явно сильнее.

«Ну-ну»,— подумал он.

Володя молчал.

Они прошли еще сотню метров. Тогда Володя чуть-чуть повернул к Логинову лицо.

— Ты что, сержант,— сказал он,— против меня переть хочешь?

Изо рта у него вылетал чистый, почти невидимый, парок.

— Выпендриваться меньше надо,— сказал Логинов. — Понял?

— Брось! Брось, сержант,— сказал Володя, усмехаясь и не глядя на Логинова. — Брось. Не ищи приключений. Хорошо, я добрый сегодня, а то — мигнул бы своим ребятам, взяли б тебя за шкуру и — как надо, так и было бы.

— Ну, ну. А завтра за такую штуку из комендатуры бы вылетел.

— Нет, нет, сержант. Не вылетел бы. Нет. Куда ж без меня? Комендант привык — у Во-

леди порядок. А? Порядок. На мне порядок держится.

— Ну, стало бы поменьше твоего порядка. Тоже не очень бы плакали.

— Эх, сержант. А еще сержант — а так говоришь нехорошо.

Он усмехался и смотрел вперед.

«Куда его, бляху, несет?» — думал Логинов. Они шли и скрипели на всю станцию. Вдалеке потянулся паровозный гудок. Потянулся и повис. Его уже не было, а казалось, он все еще тянется где-то впереди, в темноте.

Они подошли к небольшому домику. Щели в ставнях светились. Кругом были все больше сибирские избы. А этот был маленький.

Володя сильно постучал кольцом о ворота. Стук не ушел из холодной тишины этой ночи. Он в ней и остался.

Внутри хлопнула дверь.

— Ты? — спросила оттуда женщина.

— Давай, давай, — сказал Володя.

Сдвинулся засов. Они вошли во двор. Женщина задержалась, запирая ворота.

В низкой комнате было жарко. Русская печь, дощатая перегородка, недостающая до потолка. Накрытый скатертью стол.

Володя снял ремень.

— Раздевайся, сержант, — сказал он. — Гостем будешь.

Вошла женщина. Ей было, наверно, под сорок. Она была румяная и пышная.

— Ну, вдова, — сказал Володя, — давай, работай. Видишь, гость. Друг, лучший друг.

Он, усмехаясь, взглянул на Логинова.

— А, сержант?

Логинов смотрел на женщину.

Ничего парень устроился.

— Что смотришь? — сказал Володя. — Не смотри. Варька — баба — будь спок.

А он не сибиряк. Здесь так не говорят. Ишь, проходимец.

Они сели за стол.

Володя положил локти на скатерть и посмотрел из-под бровей на Логинова.

— Ну что, друг? Выпьем? А?

— За дружбу? — спросил Логинов.

Володя усмехнулся.

— За службу. За службу выпьем?

Тебе только за службу и пить, король патрулей. Что ты видел на гражданке? Что мог видеть? А здесь — власть. Пистолет. Тоже не шуточки. Остановил бы ты на гражданке танцы — тебе бы морду, как самовар, начистили. А здесь — ничего.

Варька старалась. Горячая картошка из печи, соленые огурцы, холодец. Жить можно.

Она выскочила в сени и принесла темную бутылку. Самогон, что ли?

Они разлили самогон в граненые стаканы. Володя рывком растегнул на груди гимнастерку. У него была глянцева́я смуглая кожа. Он носил, оказывается, майку. Зимой.

— Ну, сержант, выпьем за службу?

Логинов поднял стакан.

— Была бы служба, а служаки найдутся.

— Точно! — сказал Володя. — Точно!

Они выпили.

Володя разломил большой огурец. Брызнули семечки.

— Ты что — ножом не можешь? — сказала Варька.

— Могу,— сказал Володя и откусил огурец.

Они выпили еще, и Варька пошла за другой бутылкой.

Свет в комнате был горячий и масляный.

— Что молчишь, сержант? — сказал Володя. — Не молчи, хорошие люди не молчат.

— А я не знал, что ты разговорчивый,— ответил Логинов.

— Ну, то — на службе. При исполнении — дело другое. А так — что же! Что я — не человек? Все думают — патруль — не человек. Патруль — человек! — вдруг закричал он и ударил кулаком по столу. — Все думают, Володя — сволочь. Володя — не сволочь!

Он кричал, опустил голову, и глядя на Логинова исподлобья. Потом он откусил огурец и успокоился.

— Это я знаю почему,— сказал он. — Знаю. Если б комендант сам ночью бегал, их ловил, сажал — ничего! А если я солдат — значит я — сволочь. А им не все равно? А? Если тебя офицер посадит — сутки, что ли, короче будут, а? Темные, темные люди у-у-у!

Он говорил прямо-таки с болью.

— Я вот недавно иду с Егоровым поздно уже мимо почты — выходит хмырь один, ваш, надо думать. В очках, сука. Идет себе. Мы его и прихватили. Где увольнительная? Нет. Ходил, говорит, домой звонить. Взводный отпустил. Мама, говорит, больная. А увольнительная где? Нету. Хмырь ты, говорю, болотный, а не солдат! Мама у тебя есть, а увольнительная где? А? Что мне твой взводный? Я его самого посажу! Ну? Вот — а он, мотыльной такой, гад,— он мне говорит: как

вам не стыдно, вы же такой же солдат, как я. Как же вам не стыдно! Я говорю: счастливый твой бог — очков мне твоих жалко — я бы тебе, костыль ты, дура, показал — стыдно! А? Просидел ночь, позвонили в часть — отпустили.

Он произнес последнее слово с выдохом и уронил голову. Потный чуб шлепнул его по лбу.

Логинов катал в пальцах хлебный шарик.

Говорят, человека портит власть. Ну, разве это власть? Разве у него это власть? Нет. Он бессловесное животное. Многословное бессловесное. Где шинель-то с пистолетом? Вот у кого власть. Он своего пистолета боится. Мало кто знает, какая властная вещь — оружие. Оно обязывает. Ох, как оно обязывает. Его нельзя послушаться. Только пьяный и понимаешь. Когда пьян и без оружия... Ношение оружия — это религия. Не знаю ничего более властного. Совсем другой человек. Не хуже и не лучше, а просто — другой. Такое идиотство — повесят на тебя эту железку — и гордишься. Гордишься. Ну, это, конечно, понятно. Это — жизнь и смерть. Смерть на шее висит. Вижу человека и знаю — могу тебя убить. Самое главное — в руках. И просто. А этому — разве бороться с пистолетом? Куда там! Бедный парень. И пистолет-то чужой.

Володя поднял голову.

— Все молчишь, — сказал он. — Но это — ничего. Я вижу — ты человек. Варька!

Логинов вспомнил, что здесь еще Варька. Она все время сидела с ними. Но заметно ее не было. Он встал.

— Ну, — спасибо за угощение. Мне пора.

— Ага. В часть пошел. Порядочек любишь.

— Да, пора,— сказал Логинов.

Десять километров. Матка бозка! После этой жары, по морозу. Ну, что же делать? Сам виноват.

Потом уже, когда он шел по морозной тайге, нащупывая ногой дорогу, ему стало смешно. Как по-дурацки все получилось. В друзья попал. Ну, что же. Тоже неплохо.

Они встретились с Володей через неделю, поздоровались — и все. Вечер тот был, конечно, случайным.

Володя по-прежнему ловил, сажал. И вообще — диктаторствовал. И так — до весны. А весной все кончилось.

Есть такое детективное правило — главный преступник, главное, по сути дела, лицо — ходит под самым носом у читателя, а на него никто не обращает внимания до самого конца. Так было и в Володиной истории. Погубила его, собственно, Варька.

Он пришел к ней в тот вечер уже немного под градусом.

Они выпили еще.

А потом, когда настала пора спать, Варька вдруг заупрямилась и отказалась лечь с Володей.

— На лавку постелю,— сказала она. — Сивухой от тебя волокет, не могу. Помру ночью.

— Ты что — чокнулась? — спросил Володя.

Он прикинул в уме и получилось, что они с Варькой живут чуть поменьше года. Раньше целый год хорош был. А теперь нехорош.

— Брось, брось,— сказал он, видя что

Варька разбирает и делит постель. — Брось, вдова!

— На лавку постелю,— сказала Варька.

Если бы он просто ударил ее, она бы поревела и на том бы кончилось. Но нелепость происходящего настолько поразила Володю, что он и решил пошутить.

Он подошел к висевшей на гвозде шинели и вынул пистолет.

Варька сначала не поняла, а потом ей показалось, что она поняла.

Она с визгом бросилась в дверь и Володя не успел ее удержать.

Она заметалась по двору, истошно крича. Прибежавшие соседи (было еще не поздно) застали эту мечущуюся с криком Варьку, и в дверях Володю с пистолетом в руке. Он так изумился всему происходящему, что забыл спрятать пистолет.

Дело о попытке изнасилования и угрозе оружием хода не получило. Варька сама испугалась того, что натворила и все отрицала. А соседям было наплевать.

Но история эта стала известна в частях, и коменданту пришлось разжаловать Володю из патрулей.

Дослуживать оставшиеся четыре месяца его направили в один из батальонов. Он попросился к Логинову.

Он пришел во взвод солнечным майским утром, после завтрака. За два дня до этого батальон переселился из землянок в палатки.

Логинов увидел Володю в просвет между палатками и пошел к нему. Пока он огибал палатку, из нее вышел Ванеев.

— Ну что? — сказал он, подойдя к Володе вплотную, — что падла? К нам на котлеты пришел?

Он не видел Логинова. Он до армии сидел за соучастие в убийстве. Его багровый щетинистый загривок действовал на Логинова почти гипнотически — взгляда было не отвести. Очень трудно. Он не видел Логинова. Он был меньше Володи как раз на голову. Он подошел к нему еще ближе, быстро присел и, подпрыгнув, ударил Володю головой в подбородок. Тот упал на колени, закинув лицо.

— Ванеев, — сказал Логинов.

Ванеев медленно повернулся.

— К нам на котлеты пришел, — сказал он, кивнув на Володю, и улыбнулся.

— Еще раз увижу — с губы не вылезешь. Понял?

— Это я?

— Да ты.

— Ну-у?

— Тпру. Хватит болтать.

— А если не увидите?

Да. Дело дрянь. Мне это ни к чему.

Володя уже встал и стоял, глядя спокойно и пробуя языком прикушенную губу.

— Идите на кухню, — сказал ему Логинов, — к дежурному. Скажите — я прислал в его распоряжение. На сегодня. Завтра найдем вам работу. Вещи принесли? Жить будете вон в той палатке. После обеда получите у каптенармуса постель. Идите.

Он построил взвод и прошелся вдоль строя, глядя в равнодушные загорелые лица.

— Ну вот что, ребята, — сказал, — к нам прислали Володю. Вы об этом знаете. Так

вот. Запомните. Служить вам осталось почти всем четыре месяца. Когда сядете в эшелон — все, что угодно, хоть ноги друг другу повывламывайте. А пока вы здесь и я отвечаю за каждого из вас — ни-ни! Понятно? Мы жили с вами неплохо больше года. Не стоит, я думаю, напоследок ссориться. Четыре месяца срок немалый — и если что — обещаю всем, всему взводу — веселую службу на эти четыре месяца. Так что — не стоит. Сядете в эшелон — все, что угодно. А пока здесь — чтоб ничего. Понятно? Младший сержант Дрозд, Володя будет у вас в отделении. Если что — ответите особо. Понятно?

Работал Володя хорошо. Его не трогали. И не только свой взвод, но и другие. Чужие. Логинов сначала удивлялся, а потом понял — они тоже были хитрые.

Володю отправили первым эшелонном. Логинов пришел провожать, эшелон, и они столкнулись с Володей у теплушки.

— Счастливо оставаться, товарищ помкомвзвода, — сказал Володя и страшно усмехнулся — у него приподнялась верхняя губа и дернулись щеки.

— Ну вот, парень, ты и дослужил, — сказал Логинов.

Володя посмотрел на него и поставил ногу на лестничку.

— Ах ты, гад, — сказал он и полез в теплушку.

Его выбросили из эшелона на полном ходу где-то под Новосибирском. Этот участок недавно ремонтировался и вдоль низкой насыпи лежали груды шпал и камня.

Выстрел

Военный дознаватель, что ты делаешь? Разве этим внушишь преступнику страх и желание покаяться?

Лейтенант разглаживал ладонью гладкий лист бумаги. Совершенно гладкий лист. Глаже не станет.

Они сидели в большой штабной комнате, в которой было много стульев, несколько столов, и они чувствовали себя как бы на людях.

В этой комнате время от времени происходили заседания выездной сессии трибунала. Лейтенант был только из училища. Военным дознавателем его назначили потому, что другие офицеры не хотели. А он только приехал в часть, так что — давай, работай. Ему нравилось быть военным дознавателем до первого дознания. Сейчас вот шло первое.

— Ну, что же ты, парень, — говорил лейтенант, — разве можно так? А?

— Да я же говорил — пьяный был.

— Ну, разве можно пить за рулем? Да еще ночью. Это же черт знает что! А?

— Да я же говорил...

— Ну что — говорил, говорил! Может ты врешь. А?

— А вот вернется товарищ капитан — вы спросите.

— Да некогда мне ждать твоего капитана. Тебя судить надо через неделю. Приедет трибунал — надо судить. Тебя и еще гаврика одного.

Дознаватель был из неразвитых, но деликатных от рождения лейтенантов, которые

почти не ругаюся матом. Во всяком случае — это не доставляет им удовольствия.

Вот черт, думал он, это же не дознание, это черт знает что.

Перед ним сидел парень с белесыми хитрыми глазами. Парню надоел этот вежливый лейтенант, надоело сидение на губе. Ему хотелось определенности. Ему хотелось на зону и не хотелось в дисциплинарный батальон. О свободе он не думал. Он был реалист и выбирал лучший из возможных вариантов.

— Товарищ лейтенант, — сказал он, — дайте папироску.

Лейтенант суетливо достал портсигар и раскрыл. Если бы этот парень был просто рядовым при пилотке и ремне, все было бы ясно, — кругом марш! — или еще что. А парень был преступником — другая, странная и вызывающая почтение, категория людей. И лейтенанту было неловко.

Преступник взял папиросу, помял ее, сделал вид, что хочет закурить и спрятал в рукав.

Вот черт, думал лейтенант, и парень-то вроде ничего. Может замять?

— Ну, вот что, — сказал он, — ты посиди. Я сейчас приду.

— Дайте закурить, товарищ лейтенант, — сказал парень.

Лейтенант раскрывал портсигар медленно — я же только что давал ему закурить? Но все же раскрыл. И преступник взял две папиросы.

— Пока вы будете ходить, товарищ лейтенант, я покурю от пуза.

За дверью стоял конвойный. Напротив двери на желтой скамейке сидел начальник конвоя — старший сержант Логинов. В обязанности его и пяти подчиненных ему солдат входила охрана заседаний трибунала, сопровождение преступников, допросов и т. д.

Обстановка в частях, дислоцированных вокруг разъезда Читинской железной дороги, была такая, что выездные сессии трибунала работали каждый месяц, и стрелковый полк выделил постоянный конвой.

Увидев лейтенанта, Логинов встал.

— Сержант, побудьте в комнате, я сейчас вернусь.

Логинов вошел.

— Дай, закурить, сержант,— сказал преступник. — На губе не дают. Совсем, гады, приморили.

Логинов молча бросил ему папиросу.

— А прикурить? Серяночку кинь.

Логинов взглянул.

— Ты откуда?

— Со Скабаристана.

— Понятно.

Кинул спички. Пошел к окну и присел на подоконник. Кобура пистолета, сильно сдвинутая назад, мешала ему, и он перетащил ее на бок.

— Ну что накатался? — сказал он. — Эх, ты! Лапоть.

Парень сощурился, но промолчал. Он встал и прошелся вдоль стены — туда-сюда. Гимнастерка без ремня болталась.

— Годика два дисбата закатают,— сказал Логинов, и тоже сощурился. — А там сержан-

ты не такие как я. Там каждый сержант с усамми и вот таким кулаком. Там не попрыгаешь.

— Хрен там,— равнодушно сказал парень, не глядя на Логинова.

— Что — хрен там?

— А ни хрена. Мне в дисбате делать нечего. Я на вольный воздух пойду.

— А уж это куда пошлют.

— Ты, что ли, пошлешь?

— Трибунал пошлет.

— Дай-ка закурить.

— Давал уже. На губу копишь?

— А что — заложишь?

Логинов быстро взглянул. Белесые глазки почти совсем исчезли. Лица, собственно, не было. Было только выражение.

«Ну-у, мальчик,— подумал Логинов.— Стрелять хоть сейчас можно. Готов. Испекся».

— Ну что, сука, заложишь?

— Закройся, ты, чмо,— сказал ему Логинов, и отвернулся к окну.

— Ишь ты, ученый! — сказал парень.

В части многие знали, что Логинов — ученый. Он иногда делал международные обзоры в клубе. Он кончил до армии десятилетку, потом его выгнали за что-то из института. За два года службы интеллигентский лоск с него слетел. Но все равно.

Потом вернулся расстроенный лейтенант. Он ходил к командиру полка, предлагал, видите ли, замять дело.

Комполка сказал ему:

— Ну, вот что, прапорщик (так и сказал — прапорщик), вы не офицер, а шмат простокваша. Идите и выполняйте. Кругом марш!

Лейтенант вошел хмурый и суровый.

— Сержант,— сказал он. Логинов вытянулся. — Отведите его (кивок) на гауптвахту. И смотрите.

— Слушаюсь, товарищ лейтенант,— ответил Логинов.

За окном уже здорово смеркалось. Лейтенант рассеянно оглядел комнату и вышел.

— Пошли,— сказал Логинов.

— Погоди, сержант. Дай я здесь покурю. В доме.

— Ну, давай. Живее только.

Он хотел добавить, что уже темнеет, но какое-то тревожное чувство плеснулось в нем и он осекся.

Парень курил, сидя на стуле, широко расставив ноги в грязных сапогах и ссутулившись. Он смотрел в пол, а без глаз на лице его ничего было не ясно.

Логинов передвинул кобуру обратно.

— Э, сержант,— сказал парень. — Я у тебя убегу сейчас. Когда пойдем.

Логинов даже не сразу понял, кто это сказал. В комнате стало темно. Логинов включил свет.

— Мне дисбат закатают, а мне это — не светит. А убегу — поймают, и добавят еще годика два, а с таким сроком — в лагерь. Понял? Я это к тому, чтоб ты с испуга не выстрелил. Понял?

Парень смотрел на Логинова блестящими белками весело и нагло. На его твердой прямой губе висел окурочок.

Сколько было говорено о загадочной психологии мужика. Надо сказать, что простой человек с легкостью разгадывает интеллигента. Собственно, разгадать человека — значит

понять слабые его стороны. И тут простой человек ошибается редко. Но уж если ошибается — то на свою голову.

— Не стрельнешь?

— Стрельну.

Парень закусил окурочек.

— Врешь, сержант?

— А вот посмотришь.

— Врешь.

Он встал, выплюнул окурочек и отбросил его грязным сапогом.

— А что мне — вместо тебя садиться? А? Вот с губы беги — сколько влезет. А от меня — не убежишь.

— Поглядеть будем, сержант, поглядеть будем.

— Ну, хватит. Пошли. И так на ужин опоздали.

Он опять хотел сказать про темноту и опять не сказал.

Они вышли в коридор. Потом на улицу. Конвойный, красивый тонколицый узбек, пошел третьим.

Темнота. До гауптвахты метров семьсот. Березы за гауптвахтой не видны. Ночь была не сплошной, вокруг везде светились островки. Белое зарево стояло над полковым лагерем. Далеко светился поселок. Но это все было вокруг. Они шли в темноте.

Они пошли по сухой дороге — по обе стороны глубокие замусоренные кюветы. Налево недалеко были склады. Оттуда на дорогу ложились, перемежаясь с темнотой, неширокие полосы света.

«Он побежит, — думал Логинов. — Сволочь. Он побежит. Что я потом о себе думать буду?»

А этот будет смеяться и говорить, что понял меня. Сволочь».

Самосвалы сильно разбили дорогу и трудно было идти. Они шли неровно, спотыкаясь. Преступник впереди. За ним Логинов. Последним узбек с карабином.

— Карабин заряжен? — спросил его Логинов, не оборачиваясь.

— Конечно заряжен.

— Патрон в стволе?

Послышался звук затвора. Узбек загонял патрон в ствол.

— Два наряда вне очереди за нарушение устава караульной службы.

— Да, товарищ старший сержант, долго что ли загнать?

Они прошли светлую полосу и снова ступили в темноту.

Логинов споткнулся и чуть не упал. В этот момент парень дернулся и побежал, сразу тяжело задышав. Он не стал прыгать через кювет. Он бежал к перекрестку.

Логинов не бросился за ним. Кобура была застегнута.

Он протянул руку назад и узбек сунул ему карабин.

Парень бежал в темноте. Сейчас он выскочит в свет. Есть!

Логинов заметил, где он выскочил, далеко ли от левого кювета. Поднял карабин и прицелился в это место на следующей светлой полосе. Узбек сзади бормотал что-то.

«Убью, сволочь», — равнодушно подумал Логинов.

Парень громко топал сапогами впереди в темноте. Он выскочил в следующую полосу

и сделал несколько шагов. Он был на середине полосы, когда Логинов выстрелил. Толчок пули заставил беглеца сильно рвануться. И он упал.

Логинов передернул затвор.

— В штаб,— сказал он узбеку. — Дежурного по части. Бегом.

Он взял карабин подмышку по-охотничьи и пошел к ничком лежащему телу по хрустящей разбитой дороге. Не доходя несколько шагов он остановился. И дальше идти не смог. Он понял, что забыл дать предупредительный выстрел.

СОДЕРЖАНИЕ

Виктор Васильев. Стихотворения	3
Андрей Битов. Записки из-за угла. Дневник единоборца	7
Анатолий Бергер. Стихотворения	82
Михаил Блазер. Стихотворения	90
Татьяна Милова. Песенка об Андрее Ильиче Ирина Знаменская. «В фонд помощи Твор- цу». Стихотворения	102
Александр Володин. Записки нетрезвого че- ловека. Стихотворения	107
Александр Щуплов. Сад. Поэма	116
Глеб Денисов. Стихотворения	154
Михаил Яснов. Прощание с Коломной. Сти- хотворения	159
Николай Якимчук. Картинки с выставки. Разговор с Бабелем. Рассказы	166
Елена Ушакова. Стихотворения	175
Александр Величанский. Стихотворения	188
Руслан Миронов. Стихотворения	198
Виктор Ерофеев. Белый кастрированный кот с глазами красавицы. Рассказ	204
Геннадий Алексеев. Тиберий. Поэма. Стихо- творения	208
Евгений Попов. Сирья, Борис, Лавиния... Рассказ	215
Юрий Дятлов. Повод. Стихотворения	241
Яков Гордин. Солдаты пятидесятых. Рас- сказы	251
	256

Художник *К. Немченко*

Редакторы *Н. Якимчук, А. Шор*

Художественный редактор *И. Корб*

Сдано в набор 03.01.90. Подписано в печать 05.06.90.
М-14610. Формат 70×90¹/₃₂. Бумага типогр. Гарнитура
литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 9,0. Тираж
7000 экз. Заказ 511. Цена 5 руб.

Издательство «Васильевский остров»
191028, Ленинград, Манежный пер., 2.

ПО-3 Лениприздата.
191104, Ленинград, Литейный пр., 55.

ЦЕНА 5 р.

